## Твой образ

Светлана Ягупова

### 1

Природа щедра на выдумку. Однако то, что она подбросила Виталию Некторову, наводит на мысль о легковесной расточительности ее фантазии. Хотя, как знать. Может, и здесь ею владел особый замысел.

Случись подобное с кем другим, все приняло бы иную окраску, хотя и не устранило бы сложностей — они еще более углубились оттого, что Некторов был из породы везучих. Бегал ли с мальчишками наперегонки, гонял ли мяч или стрелял в тире, удача следовала за ним по пятам. В восемнадцать лет он выиграл в лотерею «Москвич», а в двадцать три стал чемпионом области по шахматам и настольному теннису. Когда же заметил постоянную легкость своей руки, навсегда отказался от состязаний, скучно предвидя успех.

А удача продолжала бежать за ним преданным щенком. Яркая внешность былинного богатыря: внушительный рост, русые волосы до плеч, с синим блеском глаза — все это без труда распахивало перед Некторовым любые двери. И науки давались ему успешно: с отличием закончил мединститут, работал на кафедре известного нейрохирурга Косовского.

Словом, Некторов был из тех, кому не надо вставать на цыпочки, подпрыгивать, чтобы достать желаемый плод, — только протяни руки. А если к перечисленным достоинствам прибавить еще и галантное отношение к женщинам, то можно понять тех, кто украдкой или явно вздыхал о нем.

Вероятно, постоянная удачливость и воспитала в Виталии характер легкий, веселый, открытый. Все его существо, казалось, излучало флюиды счастливого человека, и там, где он появлялся, вмиг устанавливалось теплое, безоблачное настроение. Им любовались, его любили, и он платил тем же.

Но в двадцать восемь лет жизнь предъявила Некторову крупный вексель. С ним случилось нечто, равное чему трудно и вообразить. Пятнадцатого мая он проснулся, как обычно, от ласкового толчка материнской руки:

— Вставай, сынок! — и мягкий поцелуй в щеку: — С днем рождения.

Некторов открыл глаза, улыбнулся и глубже нырнул в теплую мягкость постели. Лег он поздно, и сон не желал отпускать его. Но вставать надо, в институте уйма дел. Раз, два, три! Сбросил одеяло, вскочил. Комната плавала в солнечном свете. Стол, стул, шкаф, книги — все воздушное, невесомое. Он распахнул окно, встал перед зеркалом и с удовольствием подмигнул своему отражению.

Прекрасный твой образ телесный

Всегда намекал о душе, —

пропел густым басом. Почему-то во время зарядки приходили на ум именно эти стихи, посвященные ему институтской поэтессой Верочкой Ватагиной. Но, если без ложной скромности, Верочка права.

Сделав великолепную стойку, Некторов еще раз глянул в зеркало и ринулся в ванную. «Хоть бы с шимпаизе все было в порядке, — подумал он, подставляя крепкое загорелое тело под холодные струи душа, и пригрозил неизвестно кому: — Мы еще заблистаем! Мы еще потрясем умы!»

Не то чтобы он всерьез мечтал о славе, но иногда позволял себе предаваться волнующим иллюзиям. Впрочем, все это ерунда. Работа, работа, работа — вот реальная ценность. И пусть себе лаборантка Ирина Манжурова удивляется его бешеной энергии: «Не пойму тебя, Виталик. Такой молодой, а горишь синим пламенем. Учти, памятники нынче подорожали».

За завтраком сказал матери, что вечером придут друзья. Посидят, поболтают. Хорошо бы приготовить чего-нибудь вкусненького. Надел новую рубашку — материн подарок — и уже одной ногой стоял за порогом, когда Настасья Ивановна полюбопытствовала:

— Тоша будет?

— Конечно! — Он с улыбкой обхватил мать могучими руками, чмокнул в лоб и выскочил из дому.

Сумасшедший... Настасья Ивановна задумчиво потерла щеку. Скорей бы женился, хозяйку в дом привел. Гляди, там и внучата пойдут, веселее будет. А то еще год-два погуляет в холостяках' и насовсем приохотится к раздольной жизни. А время летит. Видел бы отец, какой сын вымахал. Красавец. Только уж больно похож лицом на него, прыгуна, гуляку и многожена. Но характером вроде в нее. А там, кто его разберет. Может, как отец, волочит за собой дорожку, политую женскими слезами. Не дай-то бог.

Она тревожно вздохнула и принялась кухарничать, размышляя о Тоше. И чем приглянулась сыну эта девушка? Скуластенькая, с неправильными чертами лица и росточком до Виталикова плеча, рядом с ним и вовсе выглядела, невзрачно. Впрочем, у его отца тоже наблюдалось чудаковатое влечение к некрасивым девушкам, какою некогда была и она. Зато играла в Тоше некая жилочка, позволяющая думать о том, что сын попадает в любящие и строгие руки.

Познакомились Виталий и Тоша в летнем молодежном лагере, под Симеизом, и сын так увлекся ею, что через месяц сделал предложение. Но девушка не поверила в столь быструю свою победу, отказала. Это еще больше подхлестнуло его. Он повел осторожную и хитрую политику и в конце концов добился своего — она готова была идти за ним на край света. Теперь Настасья Ивановна со дня на день ожидала сообщения о свадьбе.

Между тем Некторов спешил в институт. Троллейбусная толкотня всегда веселила и раззадоривала: легкий напор одним плечом, затем другим, и ты в центре столпотворения, и голова твоя возвышается над всеми, упираясь в потолок. Ах наступил на мозоль старушке! И куда носит этих подагрических бабусь в домашних тапочках? «Пардон, бабушка!» Час пик — время энергичных, напористых, сильных, тех, на ком держится сегодняшний день, и нечего в этот час мельтешить по городу пенсионерам с базарными сумками!

После троллейбусной давки обезьяний питомник, как всегда, показался монашеской обителью. Здесь уже хозяйничал дядя Сеня. Припадая на искалеченную в детстве фашистской гранатой ногу, выметал из вольера мусор, освежал мокрым веником полы и заодно разносил обезьянам еду.

— Надеюсь, Клеопатру не кормили? — мимоходом спросил Некторов.

Худое небритое лицо дяди Сени огорченно сморщилось.

— Никаких распоряжений не было.

— Разве Манжурова не говорила? — вскипел он.

Подошел к клетке. Миска с похлебкой стояла нетронутой. Шимпанзе сидела в углу понурой старушкой и философски-печально смотрела на него безресничнымн глазами. Повязку с ее головы уже сняли, и обезьяна ничем не отличалась от своих сородичей в вольере. Правда, была задумчиво-вялой. Но это, вероятно, от изоляции.

— Клео, Клеопатра, — позвал он. — Клеушка, чего загрустила? Иди ко мне, — открыл дверцу.

Обезьяна по-человечьи укоризненно взглянула на него и отвернулась.

Он вошел в клетку, взял Клеопатру за лапу. Она агрессивно оскалила зубы. Этого еще не хватало! Неужели психоз, которого так боится и ожидает Косовский? Интересно, она только к нему так настроена?

— Дядя Сеня, — позвал он, — идите-ка сюда.

Дядя Сеня подошел, сочувственно посмотрел на шимпанзе.

— Думаете, не соображает, что вы с ней делаете? Эти животные порой умнее нашего брата. У меня вон дома кошка живет, так чисто человек, любое слово понимает. Только и того, что сама не говорит.

— Отведите ее в лабораторию, — попросил Некторов.

Клеопатра послушно ухватилась за руку дяди Сени и, боязливо оглядываясь на Некторова, покосолапила из питомника.

Значит, обыкновенная обида — решил он. Неужели из-за того, что вчера слишком долго мучил у энцефалографа? Но почему тогда пропал аппетит?

В лабораторию он не пошел. Манжурова, конечно, будет недовольна. Но не хотелось в глазах Клеопатры закреплять за собой образ мучителя. Ничего, сами справятся. Важно не замутить эксперимент. Пока все блестяще. Уже сорок дней после операции. Если так пойдет и дальше, можно будет говорить о крупном успехе.

Предшественнице Клеопатры шимпанзе Эрике не повезло — она скончалась на двенадцатый день от воспаления легких. Но он был уверен, что, если бы не простуда, все протекало бы нормально, как у Клео, — тьфу, тьфу через левое плечо. А что, если и эта простыла? — встревожился он и быстро пошел в лабораторию.

Здесь застал идиллию: дядя Сеня, умиленно заглядывая Клеопатре в глаза, придерживал ее на стуле, в то время как Манжурова брала из ее лапы кровь. Впрочем, обезьяну можно было и не держать — ее увлек детский роллейдоскоп, она прикладывала его к глазу, пробовала на язык и все хотела вытряхнуть из него цветные узорчатые стеклышки, но ей это не удавалось. Тогда она сильно трахнула игрушку о спинку стула. Стеклышки разлетелись по комнате. Увидев Некторова, Клеопатра съежилась, испуганно сверкнула глазами и спряталась за плечо дяди Сени.

— Клео, ну что с тобой? — Некторов притронулся к ее носу. — Измерь ей температуру, — сказал Манжуровой.

— Доброе утро, великий ученый, — Манжурова усмехнулась. — Быстро мы зазнались, уже и не здороваемся. Тебя Косовский ищет. — И многозначительно: — Экстренная операция.

Все напряглось, собралось в нем. Вдруг именно тот случай? Почему бы и нет? Их бригада во всеоружии, в любую минуту готова, как говорит Косовский, открыть новую эру в медицине. Технически все продумано до мелочей.

Последнее время он часто ловил себя на том, что прямо-таки торопится заполучить долгожданного пациента. Была в этом примесь чего-то нехорошего, корыстного. Нет, он не хотел никому несчастья, но попавшему в беду он в состоянии помочь. Он уверен! Он почти уверен... А может, их усилия впустую, и то, что удачно на подопытных животных, не годится для человека? Порой проскальзывали тщеславные мысли о симпозиумах, конференциях, интервью, о работе в центре... Черт возьми, как блистательно может сложиться жизнь, стоит подвернуться случаю! А поскольку удача балует его, почему бы не подыграть ей и в этот раз?

В коридоре чуть не налетел на Петелькова.

— В клинику, дружище, — подхватил тот под ручку. — Все уже там.

Во дворе стояла санитарная «Волга».

— Зря волнуешься, чует мое сердце, это еще не то, — осадил Некторов взбудораженного коллегу.

В клинике выяснилось, что действительно не то. Предполагаемый донор оказался оснащенным дюжиной болячек.

Давать новую жизнь человеку, чтобы он в скором времени закончил ее в муках, — не жестоко ли?

— Напрасно, братцы, спешили, — подошел Косовский. — Не пробил еще наш час. Как там красавица Клеопатра?

— Нормально, — соврал Некторов, не желая огорчать профессора — тот и так нервничал.

Они вернулись в институт, и Некторов опять занялся Клеопатрой, которая упорно не желала наладить с ним контакт. Завтрак она, правда, съела, но по-прежнему отсиживалась в углу клетки. Температура у нее оказалась нормальной, анализ крови тоже.

Заехала Тоша, поздравила с днем рождения, а Клеопатре хотела преподнести погремушку и связку бананов, но он остановил:

— Погремушки припаси для нашего будущего сына.

Она смутилась.

— А что? У нас обязательно будет сын! Клеопатру же такой игрушкой баловать нельзя. Она ее раскусит, наглотается пластмассовых горошков, и наш эксперимент полетит к чертям.

— Как знаешь, — она слегка огорчилась и, махнув «До вечера», убежала.

Он с нежностью посмотрел ей вслед. Не верилось, что именно эта неяркая девчонка так нужна ему. В скольких сердцах он поселил надежду, у скольких, не задумываясь, отобрал ее, сколько сам обманывался, и вот оказалось, что судьба его — Тоша. Впрочем, при всей любви к ней, он не собирался менять некоторые привычки своей вольной жизни. Тоша — это тепло семейного очага, уют, выход в свет под ручку. Но как отказаться от роли дарителя мимолетного счастья? Нет, он вовсе не повесничал, он всего лишь давал себе разрядку в перерывах между напряженной работой.

— Ты оставляешь после себя унижение, — гневно бросила как-то одна из вчерашних его обожательниц, — и унижаешься сам, эксплуатируя свою внешность.

Он только недоуменно пожал плечами. Все эти мелочи портили настроение, но ненадолго.

После работы, как обычно, позвонил по телефону сразу в несколько мест и, слегка обнадежив девичьи сердца, заспешил домой.

К вечеру Настасья Ивановна приготовила жареную утку, фаршированную яблоками, испекла «Наполеон» и едва успела протереть бокалы, как компания сына весело ворвалась в дом. Супруги Котельниковы, бывшие однокурсники Виталия, по обыкновению милые и предупредительные, еще у порога подхватили ее под руки и повели за стол. Манжуровы принесли в подарок имениннику диковинный газовый светильник, и минут десять гости разглядывали это чудо, под стеклом которого рождались и гибли планеты, возникали и таяли фантастические пейзажи, города.

Последней пришла Тоша с букетом ландышей, робко протянула их Настасье Ивановне. В другой руке у нее был небольшой сверток, который она не знала куда положить.

— Что же вы, Тошенька, — засуетилась Настасья Ивановна. Развернула бумагу и улыбнулась: двухтомник Цветаевой и галстук.

Легкие туфельки, кремовое платье с цветными разводами по подолу, и вся она сегодня весенняя, обновленная, удовлетворенно отметил Некторов, целуя Тошу в лоб. Кто-то шутливо крикнул «горько», и он не выдержал, признался, что возглас почти уместен.

— Неужели подали заявление? — охнула Настасья Ивановна. — И ничего не сказали?!

Он подскочил к ней, ткнулся носом в прохладную щеку.

— Я ведь хотел торжественно, чтобы потом не в одиночестве переживала, а, так сказать, при народе.

— Я не нравлюсь вам, — потупилась Тоша.

Настасья Ивановна молча обняла ее и прижала к себе.

Посыпались тост за тостом — за именинника, его мать, невесту, похвалы в адрес хозяйкиных блюд, шутки. Потом супруги Котельниковы сели на своего любимого конька: размечтались о поездке в Африку, о том, как будут лечить негритят, есть страусиные яйца и любоваться жирафами.

— Лисичкин-то, Лисичкин мой что отколол! — воскликнул разгоряченный рюмкой Манжуров. Ирина предупредительно толкнула его локтем в бок. Он замолчал и повернулся к жене:

— Не толкайся, школа — учреждение, интересное для всех, даже для медиков. Я прав, Виталик?

— Прав, Шура. Только, пожалуйста, закусывай. — Некторов придвинул ему тарелку с салатом. — Быстро же ты повеселел, ясное море, — не обошелся он без любимого присловья, встретил взгляд матери (она не любила это выражение, считала его неинтеллигентным) и виновато улыбнулся.

— Так вот, — продолжал Манжуров. — Прихожу вчера в шестой «Б». Что за чудо? Сидят все такие тихие, торжественные — и вдруг рев джаз-банды. Вскакиваю — тишина. Сажусь — опять рев. «Кто балуется с транзистором?» — спрашиваю. А они, черти, со смеху покатываются. Сажусь — и снова рев. Оказывается, Лисичкин, шельмец, этакую штуковину под столом соорудил — стоит сесть, как включается транзистор на шкафу, в другом конце класса. Но это еще что. У одной учительницы умудрились на уроке в футбол сыграть.

Настасья Ивановна посмеялась над детскими проказами и, продолжая обдумывать сообщение сына о женитьбе, рассеянно прислушивалась к новому разговору.

— Косовский обожает тебя, Виталий, — сказала Ирина Манжурова. — Однако мы, лаборантки, порой видим то, чего не замечаете вы, ученые.

— Что ты имеешь в виду?

— Как по-твоему, почему за этим столом нет нашего коллеги Петелькова?

— Он занят, — сухо ответил Некторов.

— Вот именно. А тебе не кажется, что Петельков своего рода твой дублер? И то, над чем ты работаешь с Косовским, может однажды состояться без твоего участия? Тогда все лавры...

— Ирина, — мягко перебил он, — в науке иные законы, чем в спорте. Где ты отхватила такую потрясающую брошь?

Ирина отвернулась и закурила.

— Как Клеопатра? — поинтересовалась Тоша.

— Виталий повеселел. — Представь, в ее поведении сегодня я узнал крошку Бебби. Это было так трогательно и грустно. После обеда она, как Бебби, меланхолично дергала себя за ухо и грызла ее любимые орешки, к которым раньше не притрагивалась.

Настасья Ивановна не любила разговоров о подопытных обезьянах. То, что делалось на кафедре профессора Косовского, пугало ее и настораживало. И сейчас, когда беседа свернула на рабочую колею, поспешила улизнуть к соседке — пусть молодежь развлекается тут сама. К тому же не терпелось доложить приятельнице о предстоящей свадьбе.

Котельников наладил магнитофон.

— Твой кислый вид, Антония, мне совсем не нравится, — шепнул Некторов Тоше, поднял ее со стула, и они пошли танцевать.

Когда на зимних каникулах Тоша ездила домой в свое шахтерское село, они с Виталием забомбардировали друг друга письмами, каждое из которых по его выдумке начиналось на древнегреческий лад: «Нектор — Антонии», «Антония — Нектору». Это были веселые и нежные письма. Оба неожиданно узнали друг о друге больше, чем до разлуки. И ей было жаль того времени, о котором вспоминалось всякий раз, когда Некторов называл ее Антонией.

— Ты сегодня сонная тетеря, Антония, — щекотал он ей дыханием ухо. — Учти, для будущей матери танцы — лучшая гимнастика.

Между тем компания развеселилась вовсю. Котельниковы уписывали за обе щеки «Наполеон» и сожалели, что в Африке вряд ли угостят их подобной вкуснятиной.

— Зато вас ожидают жареные каракатицы с ростками бамбука, — сострил Виталий.

Но Манжуров, как географ, усомнился в этом, сказал, что за подобной едой надо ехать в Китай. Так они шутили, каламбурили, танцевали, когда Виталий обнаружил, что у него кончились сигареты. Кто-то предложил свои, но он отмахнулся, кивнув Тоше «Я сейчас!» — и выскочил из дому навстречу беде. В последнюю минуту, когда дверь за ним захлопнулась, Тоша успела подумать, что хорошо бы пройтись вместе. Но Виталия уже след простыл. Как она потом ругала себя за то, что не пошла с ним! Знала бы, что ожидает его, вцепилась бы руками, не отпустила бы ни на шаг.

— Не рвитесь, милочка, в школу, идите в библиотеку или газету, — подсела к Тоше Манжурова. — Школа не любит робких и грустных.

— С детьми я вовсе не робкая, — возразила Тоша. — А школе нужны всякие.

— Ну-ну, не огорчайтесь, это я так, — Ирина дружески похлопала ее по плечу. — А за Некторовым глаз да глаз нужен. Всю жизнь придется быть настороже — институтские дамы от него без ума. Признаться, и я год назад попалась в ловушку его обаяния. Да, слава богу, раскусила, что он не моего поля ягода.

Это сообщение Тоша приняла спокойно: Виталий посвятил ее в некоторые свои романы.

Затем Ирина пошла танцевать с Котельниковым, а к Тоше подошел Манжуров. Подслеповато щурясь, будто что-то высматривая в ней, сообщил:

— Каждый день для меня — сущий ад. Вам же, филологам, и вовсе не позавидуешь. Одни тетради чего стоят. Может, не будете торопиться?

— И вы? — Тоша вспыхнула. Коллективное уговаривание сменить профессию начинало раздражать. Ну сел не в свои сани, зачем у других отбивать охоту? Да, трудно. Да, порой невыносимо. Но и увлекательно, и ни с чем не сравнимо! Ей ли, дочери учительницы, не знать об этом!

— Известно ли вам, что такое классное руководство? Или открытые уроки? — продолжал наседать Манжуров.

— Известно, — коротко ответила она и встала.

Куда запропастился Виталий? Набросила на плечи кофточку, вышла во двор. В лицо плеснул теплый ветер, настоянный на бензиновой гари и молоденькой листве. Слегка кружилась голова. Неужели дает знать о себе будущий малыш? То-то почешут языки соседские кумушки, подсчитывая месяцы со дня регистрации брака. Может, именно поэтому Виталий решил, чтобы она уже сейчас переходила к нему? Да нет, он без предрассудков. А в том, что вышло именно так, виновата она. Впрочем, никакой вины нет.

Она тихонько рассмеялась.

Из дому вышел Котельников.

— Вы что тут с Виталиком, целуетесь?

— Нет Виталия.

— Как нет? — оглянулся по сторонам.

— В магазин побежал.

— Еще не вернулся? Что-то долго. Наверное, встретил кого-нибудь. Ой, Тоша, смотри, уведут у тебя жениха.

— Не уведут, — сказала спокойно. И тут же засаднила под сердцем, забилась тревога. В самом деле, где можно столько разгуливать? Магазин в двух шагах. Неприлично так вот бросать гостей.

— Пойду встречу. — Котельников ушел.

Во двор шумно выбежали Ирина и Майя. За ними, что-то мурлыча, плелся Манжуров.

— Куда это все разбежались? — Майя притянула к себе Тошу. — Да что с тобой?

Обхватив себя скрещенными руками, Тоша тряслась в нервном ознобе.

Вернулся Котельников, взъерошенный, растерянный. Подошел к компании и неестественно громко сказал:

— Ребята, тут вот что, только не паниковать. Словом, тетка у магазина сказала, что недавно кого-то сбила машина.

— Ну и что? — беспечно повела плечами Ирина. — За день уйма происшествий.

Котельников молча подошел к Тоше, взял под руку, и ноги ее ватно провалились в пустоту.

Потом Манжуров обзванивал больницы. Из областной клиники ответил молоденький, почти веселый голосок дежурной, что да, около часа назад на одной из центральных улиц «рафик» сбил мужчину лет двадцати пяти — тридцати. На этом же «рафике» пострадавшего доставили в реанимационное отделение. Кто-то из персонала узнал в раненом ученика профессора Косовского, Его срочно вызвали в клинику, и сейчас идет операция. Положение больного тяжелое. Возможен летальный исход.

### 2

Профессор Косовский сидел, запершись в своем кабинете, и перечитывал два эпикриза. Первый констатировал смерть некоего Бородулина Ивана Игнатьевича, тридцати пяти лет, умершего вследствие черепно-мозговой травмы. Это был несчастный и трагикомичный случай. Жена Бородулина попросила его достать с антресолей вязальный аппарат. Ножка табуретки, на которую влез Бородулин, надломилась, и он упал. Высота мизерная, и все бы ничего, если бы аппарат не свалился на него и не проломил левую височную кость.

Второй эпикриз сообщал о гибели Некторова Виталия Алексеевича, двадцати восьми лет, сбитого машиной. Пролом грудной клетки, тяжелое ранение тазовых органов.

Оба пострадавших были одовременно доставлены в реанимационное отделение и скончались в один и тот же час с интервалом в одну минуту. Все попытки спасти того и другого оказались тщетны. Но аппараты искусственного кровообращения не отключили и после того, как раненые умерли. Косовский, однако, не заметил этого. Нелепая гибель любимого ученика потрясла его, и когда Петельков шепнул ему на ухо: «Михаил Петрович, может, попробуем?» — он взглянул на него, как на сумасшедшего. Петельков выдержал взгляд.

— Последняя надежда, — сказал он. — Биологические индивидуальности одинаковы.

Косовский оцепенел. Он еще не успел принять решения, как что-то уже сработало в нем, и он машинально спросил:

— Изоантигенная карта готова?

— Конечно.

— Группа крови?

— Вторая.

— У того и у другого?

— Разумеется.

— Резус?

— Положительный.

— Лейкоцитарные антигены?

— А I, 2, 7, 15.

— Все совпало? — не поверил он. И лишь тогда понял — это единственный шанс. Коротко приказал: — На стол!

Седьмой день его кабинет осаждают репортеры из Киева и Москвы, а он решительно избегает всяких интервью и не перестает удивляться иронии судьбы, сделавшей именно Некторова пациентом нейрохирургического отделения.

Опять настойчивый стук в дверь:

— Доктор, откройте! Минутное интервью — всего два вопроса! Согласен выслушать и за порогом. Вопрос первый: о чем вы думали, приступая к операции? Вопрос второй: каково будущее пациента?

Ну о чем думаешь, когда от тебя зависит человеческая жизнь? А тут еще жизнь дорогого тебе человека. В такой ситуации не до размышлений. Тут превращаешься в комок нервов, сосредоточиваешь всю свою энергию на одном — спасти! Позже от этих бесконечно растянутых, напряженнейших часов остаются лишь смутные воспоминания о тревоге, тоске перед возможной потерей, о заливающем глаза поте со лба и полуавтоматических командах: «Салфетка! Зажим! Скальпель!» Мысль легче передать словами, а чувству в оболочке слов всегда тесновато. Но как объяснишь это корреспондентам? Они наверняка считают, что у тебя эмоции атрофированы. Второй же вопрос требует целой монографии, а сейчас не до этого.

Косовский встал, спрятал бумаги в сейф и быстрым шагом вышел из кабинета, не дав опомниться отскочившим от двери журналистам. По его лицу они поняли, что интервью опять не состоится, и с досадой убрались восвояси. Но один, самый дотошный, в зеленой куртке, с портативным магнитофоном, пустился следом.

— Всего одно слово: Павлов или Сеченов были бы в восторге от всего этого?

— Не знаю, спросите у них сами, — грубо отмахнулся он и зашагал в палату, размышляя на ходу, скоро ли оперированный выйдет из состояния коматоза. И выйдет ли?

Распахнул дверь и усомнился — туда ли попал? Больной смотрел на него осмысленным взглядом. Лежал и улыбался. Рядом налаживала капельницу медсестра.

— Чудесно, — пробормотал Косовский. — Улыбайтесь двадцать три раза на день и скоро будете танцевать. Глюкозу с инсулином вводили? — спросил он сестру.

— Да, — кивнула она. Поправила на капельнице бутылочку с плазмой и вопросительно взглянула на Косовского. Взгляд ее был чуть растерян. Вероятно, больной чем-то взволновал ее.

— Давление?

— Сто двадцать на восемьдесят.

— Отлично. — Он моргнул ей, и она понимающе вышла. Придвинул к кровати стул, сел. — Итак, как вас зовут?

Больной удивленно поднял брови.

— Чем заслужил столь официальный тон, Михаил Петрович? К чему этот вопрос? Есть угроза амнезии? Наверное, меня здорово зацепило? — спросил он, прислушиваясь к своему голосу, хриплому и какому-то вялому. Прокашлялся. — Что со мной?

Память воспроизвела эпизод, когда он, возвращаясь из магазина, позвонил по автомату Верочке Ватагиной, и та скорбно поинтересовалась, правда это или сплетня, что он расстается со своей холостяцкой свободой.

— Правда, — нарочито трагически ответил он, удивившись, однако, быстрым ногам молвы.

— Поросенок, — процедила Верочка. — Не ожидала от тебя. Впрочем, лишнее доказательство вашей мужской несамостоятельности — ни шагу без няньки. — И частые гудки.

Вероятно, в эту минуту Верочка усомнилась в соответствии его телесной формы душевным качествам. Ничего, ей встряски полезны — напишет цикл хороших стихов. Да, именно об этом думал он, переходя дорогу, когда уронил на мостовую сигареты. Тут-то и выскочил из-за угла «рафик». Едва успел инстинктивно выставить ладони, как его швырнуло на землю. Все. Больше ничего не помнил.

— Кто ты? Где работаешь? Живешь? Кто твои родители? — перешел Косовский на «ты».

— Что за допрос, ясное море! — Больной повернулся на бок, придерживая иглу в вене левой рукой. Закружилась голова.

К горлу подступила тошнота.

— Ого! — вырвалось у Косовского. — Мы не забыли свои изящные выражения?

— Так жив я или нет? Вроде жив. — Он ощупал себя. — Михаил Петрович, руки-ноги целы, а вы не радуетесь, задаете странные вопросы. — И попытался сесть.

— Ради бога, лежи! — испуганно придержал его Косовский.

— Надеюсь, это не тот свет?

— Этот, этот, но радоваться рановато.

— Что у меня? Сотрясение? — Он ощупал забинтованную голову. — Черепок не снесло? — и снова хотел сесть, но профессор грубовато притянул его к подушке.

— Что-нибудь серьезное? — всполошился он.

— Да, — кивнул Косовский.

— Что именно?

— Пришлось делать трепанацию. Эпидуральная гематома, — сказал он первое, что пришло на ум. — И для большей убедительности уточнил: — В левой височно-теменной области.

— Вот как? Значит, сапожник не без сапог, — хмыкнул больной. — С ангиограммой ознакомите?

— Расслабься, — попросил профессор. — Ляг поудобней и сними зажимы. Проверим рефлексы.

— Парезов нет, все в порядке, — больной стал сгибать и разгибать колени, голеностопные суставы. — И угораздило меня! Столько дел, а я... Кстати, как там обезьянки? Клеопатра здорова?

— Можешь не болтать? — Косовский укрыл его одеялом и зашагал по палате. Нервы профессора явно сдавали, и больной заметил это.

— Скажите, наконец, что со мной?

Косовский подошел к нему, положил ладонь на лоб. Стараясь быть спокойным, повторил:

— Расслабься. Вот так. Еще. Хорошо. А теперь выясним, что тебя беспокоит.

— Я, кажется, охрип. Голос совсем чужой. Однако о каких пустяках мы говорим! Меня спасли, я жив-здоров и безмерно благодарен родной медицине. Кстати, кто оперировал? Вы или Петельков? Вдвоем? Чудесно. Может, я теперь стану гениальным, как тот средневековый монах, которого трахнули палкой по башке и пробудили в нем необыкновенные способности?

— Еще! Какие еще изменения!

— Ноет низ живота справа. Похоже на хронический аппендицит, если бы его не вырезали у меня три года назад. И голова раскалывается. Одним словом, не в своей тарелке. Но вы до сих пор не посвятили меня в детали операции. Какой был наркоз?

— Электро, разумеется. — Косовский вздохнул. Нет капризней больных, чем медики. А здесь случай и того хуже.

Оперированный опять пощупал бинт на лбу. Взгляд его задержался на руках. Он поднес их близко к глазам и фыркнул:

— Чертовщина какая-то. Они же не мои! Профессор, это не мои руки! Это руки фотографа! Да-да, пальцы желтые от проявителя. Или их зачем-то смазали йодом? Нет, у меня были истинно хирургические, тонкие пальцы!

— Еще что? — Длинный нос Косовского покрылся каплями пота.

— Видеть хуже стал. Может, от головной боли? Но что с моими руками? — В голосе больного прозвучал испуг. — Честное слово, они были у меня моложе!

— Ты устал, успокойся. Выпей вот это, — Косовский взял с тумбочки стакан с какой-то мутной жидкостью и чуть не силой влил в рот больному. Тот выпил и сразу уснул.

В палату заглянула сестричка с любопытными глазами.

— Там опять жена пришла, умоляет пустить.

— Что? — Косовский грозно двинулся на неё. — Сказано — никого! Ни одного человека! Кстати, чья жена?

— Бородулина, конечно. Ой, Михаил Петрович, и что это теперь будет? — всплеснула она пухлыми ручками.

Он открыл глаза. Было тихо и темно. Где он? Вспомнился разговор с профессором. Что-то его тогда встревожило. Кажется, руки. Чепуха какая-то.

Капельница была снята. Он приподнялся на локтях и осмотрелся. Как только глаза привыкли к темноте, разглядел, что дежурной медсестры в комнате нет. Знакомая ситуация — небось точит лясы с другой дежурной. Сколько им ни приказывают не отходить от оперированных, все без толку. Вероятно, сидит, обсуждает, какие туфли лучше носить — на платформе или обычном каблуке, а тут хоть помирай, так пить хочется.

Он пошарил рукой по тумбочке, нашел чашку с какой-то микстурой, но, сделав глоток, раздумал пить. Вдруг опять что-нибудь оглушающее? Выпьет и снова провалится в сон. А надо выяснить... Обязательно. Что? Что выяснить?

Цепляясь за спинку кровати, встал, нащупал на стене выключатель и зажег свет. Зачем ему это? Мысли в разброде, голова идет кругом. И ведь знает, что еще рано разгуливать, но позарез нужно выяснить... Руки! Вот что. Поднес их к глазам и долго рассматривал. Может, затронут зрительный центр, и отсюда искажение реальности? Во всем туловище свинцовая тяжесть, и будто стал ближе к земле, уменьшился в росте. Однако ни кровать, ни тумбочка не изменили очертаний. Почему?

На миг мелькнуло смутное подозрение, но он тут же прогнал его прочь — уж очень оно было невероятным. Стал разглядывать ноги. Они тоже показались не своими. Вместо загорелых спортивных ног увидел чужие, с утолщенными суставами, покрытые курчавыми волосками. Надо бы запомнить все и подробно доложить профессору. Раздвоение личности? Не похоже.

Задрал больничную рубаху с тесемками на груди и убедился, что все тело воспринимается как чужое. Вновь тяжело заворочалось подозрение, которое он неосознанно загонял поглубже, внутрь. Неудержимо потянуло к черному стеклу окна. Подошел, заглянул в него и отпрянул — оттуда в упор смотрел незнакомый мужчина, почему-то, как и он, с перевязанной головой.

Тогда, как был босиком, в трусах и рубашке, вышел из палаты и прошлепал по коридору. Свет из сестринской освещал часть коридора и трюмо. Он подошел к зеркалу, осторожно прикоснулся к его прохладной поверхности. Человек в трюмо проделал тоже. Потрогал перевязанную голову, и человек в точности повторил его движение. Незнакомец был чуть ниже среднего роста, лет под сорок, с узкими щелками глаз на детски пухлом лице.

— Очень, очень интересно, — прошептал он, рванул с головы повязку и без чувств рухнул на пол.

Утром ночная няня, охая, докладывала на пятиминутке о том, что случилось ночью. Часам к трем она вымыла полы и легла в коридоре на пустой кровати. Дежурные в это время кипятили в сестринской шприцы. Едва няня прикорнула, как услыхала, что кто-то из больных вышел в коридор. Она приподнялась и обомлела — это был тот, «тяжелый».

Профессор, слушая ее рапорт, раскачивался из стороны в сторону как от зубной боли. Потом молча встал и ушел в свой кабинет.

Больной не приходил в сознание два дня. К его палате прикрепили другую, более добросовестную сестру, и о каждом его движении она докладывала врачам.

К середине третьего дня он очнулся. Увидел у кровати хрупкую большеглазую девушку в высокой накрахмаленной шапочке с красным крестом и подмигнул. Девушка не ответила ни улыбкой, ни смущением, а почему-то вскочила со стула и уставилась на него с испуганной готовностью. Должно быть, здорово изменился, подумал он. Обычно женщины по-иному реагировали на его заигрывания.

— Как вас зовут? — спросил он с легкой досадой.

— Лена Октябрева, — по-школярски быстро ответила она.

— Какой глупый и совершенно фантастический сон приснился мне, — сказал он потягиваясь.

— Какой же? — пролепетала сестричка, нервно поправляя шапочку.

— Вы любите фантастику?

Она молча кивнула и покраснела.

— Неправда, обожаете стихи и любовные романы. Ну да неважно. Так вот, сон мой хоть и фантастический, но не совсем. Мы с профессором Косовским как раз работаем над этой проблемой... Потом расскажу о ней подробней. Приснилось, будто влез я в шкуру другого человека. Да-да, в самом прямом смысле. Знали бы, как это жутко. И такой явственный сон, бр-р. Как бы после него не отказаться от своих экспериментов. Будто подхожу к зеркалу, гляжусь в него, а там вовсе не я, синеглазый и прекрасный, а какое-то чучело. Глазки маленькие, заплывшие, сам толстячок, а уверяет, будто он — это я. Вот что значит заработаться. Последнее время я дневал и ночевал в лаборатории. Есть у меня обезьянка... Но об этом после. И вот снится, вроде снял рубашку, смотрю, а у меня вся грудь покрыта поросячьими шерстинками. И пальцы — слышите! — пальцы как у фотографа от химикатов, когда не пользуются пинцетом. Вот эти мои пальцы. Да так ясно... — Он замолчал и побледнел. — Вот! Опять не мои! Надо бы сказать профессору. — Он рванулся с кровати, но девушка неожиданно сильно придержала его.

— Лягте, прошу вас! Я все объясню, — горячо заговорила она. — Об этом пока нельзя, но лучше я, чем кто-нибудь. Никто не знает, что я соседка Ивана Игнатьевича. Того самого, Бородулина. Нет, лучше с самого начала. Только лягте, умоляю!

Он опустился на подушку и жадно повернул к ней лицо. В глазах его она прочла безумную догадку и, вхлипнув, подтвердила:

— Да-да, это так.

— Но ведь не может быть! — Он рванул на себе рубаху, тупо уставился на грудь в мелких завитушках рыжеватых волос.

— Не надо, — девушка укрыла его одеялом до подбородка. Он не сопротивлялся, лежал, молча вздрагивая.

— Напрасно переживаете. То есть я другое хотела сказать, — сбивчиво начала Октябрева. — То, что с вами случилось, не укладывается в голове, и я, право, не знаю, как вы перенесете все это. Но вам все равно повезло. Вы уже было скончались и вот вы живы. Не перебивайте! Да-да, ваша личность жива! А разве было бы лучше, если б проснулись, скажем, совсем без рук и без ног? Да вам, может, повезло так, как никому, кто попадал под машину! Учтите, Иван Игнатьевич был по-своему обаятелен. Но когда вы вот так, как сейчас, смотрите на меня, я не узнаю его, он подурнел. У него был совсем другой взгляд. — Она перевела дыхание. — Простите, я так сумбурно все изложила. — И покосилась на дверь. — Только, пожалуйста, не выдавайте меня, а то не зачтут практику. Мне очень, очень жаль Ивана Игнатьевича — он был прекрасным человеком. Когда я училась в десятом классе, он сфотографировал меня на велосипеде, и это фото заняло первое место на республиканской выставке. И вообще я обязана ему жизнью. — Она заплакала, но вскоре успокоилась и рассказала, как однажды зимой, еще девчонкой, каталась на коньках по замерзшему ставку, вдруг лед надломился, и она стала тонуть. А тут, на счастье, Иван Игнатьевич проходил и бросился к полынье. Спас. — Не знаю о ваших нравственных достоинствах, — закончила она, — но Иван Игнатьевич был редкой доброты человеком. Вы должны быть благодарны ему. И любить его.

— Его? Любить? — пробормотал вконец подавленный больной.

Девушка сидела, шмыгала носом и гладила его по руке, не отдавая себе отчета в том, кого же она все-таки успокаивает, Бородулина или Некторова. Он бездумно смотрел на нее и молчал. Наконец голосом Бородулина проговорил:

— Оставьте меня в покое.

— Нет, — возразила она. — Не имею права.

— Вы злая, ужасная. Никогда еще не встречал такой интриганки, — вдруг спокойно сказал он. — Насмотрелись дурных фильмов и разыграли передо мною фарс. Позовите профессора.

— Меня же из училища исключат, — ахнула девушка.

— А мне плевать! Профессора! Сюда! — вскрикнул он.

### 3

— Нельзя же так, Миша, — волновалась жена Косовского. — Взгляни на себя, в кого превратился. Неужели тебя мучает правомерность самой операции? — Она поставила перед мужем тарелку с жарким и села, облокотись на стол.

— Конечно, нет. Из двух трупов один выжил — счет в нашу пользу.

— А где он будет работать? И кто он теперь по паспорту?

— Что за глупые вопросы! Конечно же, он — Векторов. — Перефотографируется и ознакомит милицию с нашей документацией. Да разве печалиться надо об этом?

Он замолчал и стал без аппетита ужинать.

Зоя Павловна вздохнула. Двадцать пять лет из своей медицинской практики муж посвятил проблеме пересадки мозга. Сегодняшняя ситуация могла бы обернуться для него звездным часом, не окажись пациентом его коллега и правая рука.

— Жаль Виталика, — сказала она. — Такой был интересный, представительный. И как перенести это — сегодня тебе двадцать восемь, а завтра тридцать пять? Лучше бы наоборот. Да-да, куда счастливей выглядела бы эта история, если бы мозг Бородулина пересадили Некторову.

— О каком счастье ты говоришь? — поморщился Косовский. — Вспомнил скорбные глаза матери Некторова. Там, на похоронах, так и подмывало сообщить ей, что сын воскрес, что его прекрасный, чудом уцелевший мозг, живет в другом человеке, чей мозг умер почти одновременно с израненным телом Некторова. Но неизвестно, какую реакцию это вызвало бы у старой, убитой горем женщины. Жена Бородулина тоже пока ничего не знает — ей сказали, что свидания с мужем недопустимы из-за его тяжелого состояния. Не назывались имена пострадавших и в газетных информациях.

А время шло, близились сложности, о которых еще до катастрофы с Некторовым велись в лаборатории полушутливые разговоры. Зато теперь не до шуток. Все гораздо драматичней и сложней, чем представлялось при операциях над обезьянами.

После того, как практикантка неожиданно облегчила задачу, посвятив больного в курс событий, Косовский по-иному повел себя. Каждое утро сеансами гипнотерапии больному внушали, что его мозг и тело находятся в полном согласии, что тело не причиняет ему никаких неудобств, что оно, каким бы ни было, — его, настоящее, живое, родное и любимое. По некоторым признакам сеансы имели успех — исчезли ипохондрия и депрессия, тяжелая углубленность в себя. И все-таки угрюмый тип со взглядом мизантропа и циника не был похож ни на Бородулина, о котором Косовский кое-что узнал от его жены, ни на любимого ученика. Это был новый человек с неизвестным, как у младенца, прошлым и будущим.

Няни жаловались, что постоянно приходится выметать из палаты осколки зеркал. Когда же персоналу было запрещено покупать зеркала, больной устроил бунт, объявил голодовку, грозился разбить трюмо в коридоре. Пришлось махнуть рукой, и опять няни с ворчанием выметали осколки. Каждый день больной подолгу смотрелся в зеркало, швырял его об пол и просил купить новое. Будто в том, новом, надеялся увидеть свой прежний облик. Тогда Косовский отдал распоряжение, которое поначалу многих возмутило. Клин вышибают клином, решил он и приказал зазеркалить часть потолка над кроватью. Пусть изучает себя во всех деталях и в любое время. Кое-кому это показалось издевательством, но он настоял на своем. И что же? Оперированный вдруг притих. Часами лежал и обследовал свой новый образ, как бы приспосабливаясь и привыкая к нему. Он будто прилаживал его к себе, как дурно сшитый костюм, обдумывал, как сделать, чтобы тот был по фигуре. В минуты такого самоуглубления Косовский старался не мешать ему, а постовой сестре посоветовал, чтобы та почаще оставляла больного наедине с собой.

Было мучительно думать, что личность Некторова невозвратно потеряна, искать и не находить в интонациях его голоса, в настроении и поступках того веселого и удачливого жизнелюба, каким он был. И Косовский окончательно поверил бы, что Виталий Некторов исчез со своим телом былинного богатыря, если бы не те первые минуты его выхода из коматозного состояния. Знакомая ироничность, профессиональная осведомленность, интерес к лабораторным делам — все говорило о том, что операция прошла успешно, что мозг Некторова функционирует отлично.

— Миша, ты опять в облаках витаешь, — Зоя Павловна придвинула к нему чашку чая.

Косовский машинально выпил его и встал.

— Немного отдохну.

— Поздно уже. Ночью не уснешь.

— Вот и хорошо. Надо статью закончить. Если позвонят из клиники, разбуди. Для газетчиков меня нет.

Он прилег. Но сон не шел.

Вот уже полтора месяца после операции, а пресса не успокаивается. Да оно и понятно: то, к чему многие годы готовился целый отряд нейрохирургов в разных концах страны, — свершилось. И не где-нибудь в столице, а в скромном областном центре. Ничего удивительного. Нынче даже самые отдаленные медпункты оснащены оборудованием. Нейрохирургическое отделение клиники известно за пределами не только области, но и страны. Не зря в прошлом году на международный симпозиум пригласили всех троих — Некторова, Петелькова и его. А потом к ним приехал известный итальянский профессор Ламберти и был в восторге от результатов трансплантации. Ламберти тоже один из первых, кто решился на пересадку не головы, как было до сих пор, а самого мозга. «И господу богу эта операция сделала бы честь», — сказал на банкете знаменитый итальянец. Но Косовского в этом деле меньше всего интересовал престиж. Не слишком ли был увлечен им Ламберти?

И не оттого ли его подопытные не протягивали более двух часов? Зато Эрика жила одиннадцать дней, и вот уже скоро будет два месяца, как здравствует Клеопатра. Сохранились записи Некторова о состоянии шимпанзе, и как было бы ценно... Нет, об этом не стоит и думать. Предложить Некторову описывать собственные ощущения и действия — не слишком ли! Хотя и сам мог бы додуматься до такого, коль ученый. Да только не бывать этому. Стоит вспомнить хотя бы сегодняшний разговор...

— Все-таки чей я подопытный — ваш или Петелькова? — с издевкой спросил больной. — Помнится, Клеопатру приезжали снимать с телестудии. Почему же пренебрегают мною? Не хотите ли вы с Петельковым пожать лавры сами? Кстати, вам еще не присудили Нобелевской премии?

Пришлось парировать горькой шуткой:

— Не волнуйся, перепадет и тебе. Все-таки ты был не только нашим материалом, но и соавтором.

— Растроган, — усмехнулся он. — Но интересно, как зарегистрировали в документах — кто из нас донор, я или Бородулин? И что к чему пересадили? Мою личность к нему или мое тело к его личности? Кого теперь во мне больше — Бородулина или меня самого? Ах как много со мной проблем! Первая — жилищная. Не сидеть же мне в клетке с Клеопатрой. А мать и жена вряд ли признают меня. Может, дадите кооперативную или особнячок какой? Или жить теперь с бородулинской супругой и его детьми? А если не с ними, то придется ли платить алименты? Это ведь мое нынешнее тело произвело на свет двоих детей.

— Перестаньте юродствовать, — рассердился Косовский. Но Некторова понесло.

— Ай-ай-ай, доктор, сколько хлопот у вас со мною! Какие морально-этические проблемы! Ну скажите на милость, как я в таком обличье явлюсь к своей жене? Мы ведь, извольте знать, ребеночка ожидаем.

Косовский еле сдержался, чтобы не нагрубить, и, хлопнув дверью, ушел.

Подобные стычки случались каждый день. Колоссальная психическая нагрузка, выпавшая на долю Некторова, не шла в сравнение ни с чем. Робинзоны на необитаемых островах, узники в камерах-одиночках, летчики в горящих самолетах — все имели хоть один шанс надежды. А тут телесная тюрьма, из которой не видно выхода. Есть от чего впасть в отчаяние. Даже самые отверженные не переживали, должно быть, такого одиночества и потрясения. И Косовский понимал любимого ученика. Но как помочь ему? Успокаивать пошлыми сентенциями, вроде той, что с лица воду не пьют или встречают по одежке, а провожают по уму и т. д.? Один факт переселения в чужое тело хоть кого собьет с панталыку. Когда же добротную, эффектную оболочку подменяют чем-то весьма невзрачным, то и вовсе свихнешься. Ох, Виталий, и угораздило же тебя... Ну а если еще кого-нибудь? Не выступить ли перед коллегами с заявлением о том, что подобные операции должны быть исключены из медицинской практики? Непосильно мозгу человеческому справиться с этаким новосельем. Впрочем, делать какие-то выводы рановато. Кто знает, на что способно скромное серое вещество в наших головах.

Зазвонил телефон. Жена сняла трубку и с несвойственной ей чопорностью сказала:

— Квартира Косовского слушает. Что? — Голос ее упал. — Не может быть!

Она вбежала в спальню.

— Звонили из клиники. Некторов исчез.

Самым трудным было пробуждение. В снах Некторов видел себя прежним — молодым, веселым, удачливым. А открывал глаза и застывал в холодной испарине. Втайне надеясь, что сон продолжается, лежал не шевелясь. Однако стоило поднести к глазам руки, чтобы убедиться— все наяву, и надо привыкать к тем невероятным обстоятельствам, в которые угодил. Но как привыкнуть к новому образу, от одного вида которого начинается головокружение и горло сдавливает спазм? Как привыкнуть к этому коротконогому, уже подпорченному временем телу с уймой родинок на груди?

И об пол разбивалось очередное зеркало. Когда же зазеркалили часть потолка над кроватью, он принял это за издевательство. Но потом стал с любопытством рассматривать себя. Если в палате никого не было, сбрасывал одеяло и скрупулезно изучал свою неприглядную наготу. Что и говорить, ему крупно не повезло. Мало того, что бывший владелец тела от рождения не был Аполлоном, но еще и не утруждал себя ни зарядкой, ни тем более спортом. Из зеркала смотрел угрюмый человек с глубокими залысинами по обеим сторонам лба, пухлыми щеками и слегка заплывшими глазками неопределенного цвета.

— Наел себе мордаху, а я мучайся, — зло бросал он отражению. — Ах у тебя зверский аппетит? Ну, лопай, лопай, пока не превратишься в хряка. — И злорадно съедал по две порции первого и второго.

— Давно хочу вам сказать, у Ивана Игнатьевича походка была совсем другая, — заметила Октябрева. — Он немного косолапил, но ходил бодро, не пришибленно, как вы.

Теперь ясно, отчего он так часто спотыкается. Привычные сигналы его мозга поступают к ногам, страдающим плоскостопием, и дают сбой. Вертикальное положение вообще причиняло много неприятностей. Тело ощущалось тяжеловатым, неуклюжим мешком, на лестницах схватывала одышка, которой раньше не знал. Трудно было примириться и с тем, что пол приблизился к глазам на двенадцать сантиметров. Но самым тяжелым оказалось видеть собственное отражение не в зеркалах, а в глазах людей. Если раньше встречные, особенно женщины, откровенно задерживали на нем взгляд, то теперь не замечали его или намеренно отводили глаза, как бы отталкиваясь от его невзрачности. И голова невольно уходила в плечи, спина сутулилась, шаг замедлялся.

— Иван Игнатьевич совсем не тяготился своей внешностью, — поняла его состояние Октябрева.

— Еще бы, — вскрикнул он. — Привык к ней с пеленок, а тут...

— Есть люди гораздо некрасивей. А Иван Игнатьевич был даже симпатичным. Но вы портите его.

— Каким же образом? — опешил он.

— Зачем сутулитесь, оглядываетесь по сторонам, точно украли курицу? Говорят, вы были красивы. Однако не считаете же всерьез, что своим успехам обязаны внешности?

Эта мысль никогда не приходила ему в голову. Несомненным было одно — до сих пор жизнь цвела для него праздником. И вот все рухнуло. Потеряв свое бренное тело, он не только заодно потерял привычные радости, но и очутился в каком-то странном вакууме. Предстояло заново знакомиться с матерью, женой, друзьями или навсегда лишиться их. Да что там, нужно было знакомиться с самим собой!

Всего полтора месяца назад его одолевало банальное любопытство — каково будет человеку в подобной ситуации? Он был не прочь оказаться в роли путешественника, открывающего новые материки, но уверенного в благополучном возвращении домой. Здесь же возврата не было.

Искус ученого толкал его на исследование собственных ощущений, но какой-то желчный тип закрывал на все глаза и нашептывал: «Не превращай себя в подопытного шимпанзе. И вообще пошли всех к черту!»

Однако, хотел он того или нет, ему не удавалось избежать самонаблюдений. С самого утра будто кто включал в нем анализирующее устройство. Вот он открывает глаза, и сразу дает знать о себе легкая бородулинская близорукость. Однако она не мешает подмечать то, к чему раньше был равнодушен. Например, его теперь очень занимало соответствие между внешностью и характером. «Прекрасный твой образ телесный... Твой образ телесный...» — прокручивалось в голове навязчивой пластинкой. И тут же всплывало брюсовское: «Есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка». Быть может, главная его беда не в том, что теперь не будет узнан близкими, а в этих порванных связях? Диссонанс между сознанием и той камерой, в которую втиснули его, был так явствен, что порой казалось, сама душа охает и рвется из тщедушного тела.

Должно быть, в организме скапливались излишки адреналина, потому что такой пустяк, как смех из детского отделения или брошенная кем-то в распахнутое окно палаты ветка акации, вызывал подозрительное пощипывание в глазах.

— Бородулин случайно не грешил стихами? — поинтересовался он у Октябревой.

— Не знаю. Но натура у него была поэтическая. — И стала длинно рассказывать, каким Иван Игнатьевич был чудесным отцом и мужем, как ученики профтехучилища, где он преподавал фотодело, обожали его за фантазию и остроумие. Выяснилось, что Бородулин увлекался микросъемкой и, скажем, засняв особым объективом с искусной подсветкой поверхность обыкновенного сухаря или лесного гриба, получал совершенно фантастические пейзажи. Потом давал им названия вроде «Планета красных бурь», «Цветы Сатурна», «Космический ливень». А описывая ребятам фотографии, сочинял чуть ли не поэмы в прозе. Работы его несколько раз экспонировались на выставках в Москве.

Любопытным показалось сообщение о том, что характером Бородулин обладал веселым и добрым. Было не совсем ясно, как можно веселиться в такой оболочке? Некторов не только не уважал эту бледную рыхловатую массу, но порой сознательно причинял ей всякие неудобства. Если раньше купался под душем два раза в день, то теперь, даже когда отменили постельный режим, не ходил в ванную по неделе. Самая же черная тоска подступала в минуты, когда смотрел на себя как бы со стороны. Лютой ненавистью начинал ненавидеть бородулинское тело: больно щипал руки, давал ему пощечины, колотил руками в грудь.

Сознание того, что истязает не кого-нибудь, а самого себя, пришло не сразу. Его «я» металось в чужом теле в поисках спасительного выхода до тех пор, пока однажды не натолкнулось на собственный взгляд. Он жадно всмотрелся в него и вдруг впервые увидел его страдающую глубину. «Кто ты?» — сдавленно вскрикнул он. Отражение грустно молчало.

В этот день открылась ему старая как мир истина. Раньше он знал ее умозрительно, теперь же прочувствовал всем своим новым существом: каждый человек — непознанная вселенная. Что из того, что Октябрева теперь ежедневно рассказывает о Бородулине, его вкусах, чертах характера? Все равно с самого утра на него обрушиваются пустячные и серьезные вопросы: как Иван Игнатьевич поднимал с постели свое тяжелое тело? Кого любил и ненавидел? О чем мечтал, думал? Уж наверняка перед зеркалом ему не приходило на ум подмигивать себе и петь нечто подобное стихам Верочки Ватагиной, тешившим самолюбие. Что же тогда было его душевным двигателем? Судя по рассказам Октябревой, Бородулин был неплохим человеком. И вряд ли те чужие, темные силы, мысли, чувства, которые сейчас бродят в нем, порождены бородулииским телом. Скорее — это его собственная реакция на внешность бедного Ивана Игнатьевича. «Бедного». Однако он впервые пожалел Бородулина. Но гораздо больше было жаль самого себя. Инкогнито. Маска. Человек-невидимка. Вот кто он теперь. Долго ли это будет иссушать мозг и Душу?

— Хотите мне помочь? — обратился он к Октябревой, уверенный, что сейчас все готовы по первому его свисту свершить для него невозможное.

Октябрева так и подалась вперед.

— Достаньте приличную одежду, чтобы я мог выйти в город.

— Зачем? — опешила она. — Не рановато ли?

— Нет. — И тихо, с какой-то детской беззащитностью пояснил: — По маме соскучился, хочу навестить.

— Но как же...

— Представлюсь другом ее погибшего сына. В войну такое случалось, когда уродовали лица.

— Может, лучше пригласить ее?

— Ни в коем случае!

— Ладно, — согласилась она, поразмыслив. — Только одного не пущу. Не волнуйтесь, и не заметите, как буду охранять вас.

В один из суматошных операционных дней, когда, по соображениям Октябревой, вылазка Некторова в город могла пройти незамеченной, она принесла ему одежду, ботинки и, улыбаясь глазами, призналась:

— Люблю авантюры. Иван Игнатьевич тоже обожал всякие затеи и розыгрыши. В Новый год он перед дочками танцевал в костюме Арлекина — сам сшил. Вот, — она достала из сумочки целлофановый пакет. — Здесь парик, усы, бакенбарды. У подружки в театре взяла. А то, чего доброго, встретите кого-нибудь из друзей или родственников Бородулина.

— Молодец, сообразила, — похвалил он и стал гримироваться.

Ей было приятно услышать от него эти обыденные слова, произнесенные столь редким для него, спокойным тоном. Почудилось, что перед ней Бородулин. Даже прикрыла глаза. А когда встряхнулась, прогоняя наваждение, увидела перед собой незнакомца с легкомысленной шевелюрой, рыжими щеточками под носом и полосками бакенбардов на щеках.

— Ну-с, похож на гусара? — Некторов приглаживал усы с щегольством и удовольствием.

Это новое, пусть искусственное, превращение на миг принесло уверенность, что еще не все потеряно и что-то можно изменить в лучшую сторону. Сейчас он даже немножко нравился себе.

Они вышли из корпуса и на проходной столкнулись с Петельковым. Но тот, кивнув Октябревой, мельком скользнул взглядом по Некторову, не узнав его. «Отлично, — подумал он. — Теперь остается, как в сентиментальном романе, посетить собственную могилу или оказаться братом матери и дядей своей жены».

Солнце уже садилось, но все еще пекло с жестоким остервенением. В многоцветной городской толпе он, как никогда, ощутил свое изгойство, оторванность от всего и всех.

В троллейбусе его грубовато потеснили два брата-атлета. С тоскливой обреченностью он подумал о том, что еще недавно мог так шевельнуть плечом, что эти сопляки вылетели бы за дверь. По своей уже новой привычке стал рассматривать пассажиров. Внешне он ничем не выделялся среди них, и это слегка утешало. Вон сидит старик с костылем, а у того мужчины лицо перекошено нервным тиком. Слава богу, у бородулинской невзрачности нет броских дефектов.

Смятение, тревога и злость охватили его, когда очутился на своей улице. Октябрева плелась где-то сзади, но он не оглядывался. Все мысли были устремлены к дому, куда он шел. У подъезда остановился, перевел дыхание.

— Я тоже войду, — раздался рядом голосок.

— Это уже нахальство, — возмутился он, не оборачиваясь.

— Войду, — упрямо повторила Октябрева.

— Поймите, это бестактно, — он развернулся к ней. — Да я просто не пущу вас к себе.

— К себе? — Губы девушки грустно изогнулись.

— Ах, ясное море, — выругался он. — Ну идемте, идемте, полюбуйтесь уникальнейшей сценкой. Будет потом о чем болтать со своей театральной подружкой.

— Как не стыдно!

— Вдруг нервишки сдадут, хлюпать начнете? Между прочим, хочу доставить себе удовольствие — переночевать дома. На правах друга Некторова, приехавшего, скажем, из Киева.

— Вы с ума сошли, — заволновалась она. — В клинике будет переполох.

— Лично мне клиника принесла куда больше неприятностей.

Какой хитростью отшить от себя эту большеглазую куклу? Она так раздражала его, что он даже не успел проникнуться серьезностью положения и здесь, у родного порога, с любопытством обнаружил леденящую пустоту в груди. Ни волнения, ни страха.

— Не пущу! — Октябрева вцепилась в его рукав. — Или пойду с вами. Вдруг плохо себя почувствуете? Нет, я просто не имею права отпускать вас.

— О каких правах вы тут болтаете? Принесли одежду, грим, помогли выбраться в город и вдруг стали права качать. Не смешно ли?

— Вы черствый, злой, эгоист.

— Ну-ну, продолжайте: нахал, подонок, уродина, психопат.

Из подъезда вышла женщина и подозрительно оглянулась на них. Некторов узнал в ней соседку по площадке и чуть было не поздоровался.

— Шут с вами, пошли, — грубо сказал он и стал подниматься на второй этаж. Возле своей двери остановился, бросил в сторону Октябревой злобно-отчаянный взгляд.

Глаза девушки расширились от испуга. Покусывая губы, она вертела сумочку. Он усмехнулся.

— Всю помаду съели. Успокойтесь. Если разобраться, старая история: Одиссей возвращается домой, а его не узнают. — И решительно нажал кнопку звонка.

Послышались небыстрые шаги. Дверь отворилась, и Некторов ощутил болезненный толчок в груди — перед ним стояла мать. Волосы ее совсем побелели и легким облаком окутывали голову. К горлу его подступил твердый ком, он глубоко вздохнул, стараясь придать лицу спокойствие. То, что организм отреагировал на появление родного человека, так обрадовало, что удар встречи несколько притупился, стушевался, и это было спасением.

— Входите, — пригласила Настасья Ивановна равнодушно, не спрашивая, кто они и откуда.

— Я — бывший сослуживец Виталия, из Москвы, — сказал он слегка осевшим голосом и неожиданно представился: — Бородулин Иван Игнатьевич. А это Лена, моя супруга.

Октябрева вспыхнула от такой выходки, уничтожающе взглянула на него, но промолчала, любезно улыбнувшись хозяйке.

— Идемте, — таким же безразличным тоном сказала Настасья Ивановна. С того дня как она потеряла своего мальчика, все для нее лишилось смысла, потянулась длинная череда одинаково тусклых дней. Несправедливость судьбы надломила ее. Поддерживало одно — ожидание будущего внука. Но все, что имело хоть малейшее касательство к сыну, было дорого ее душе.

Они вошли в комнату. Здесь ничего не изменилось. Тахта, застланная зеленым покрывалом, письменный стол, полка с медицинской энциклопедией. Книжный шкаф, на верху которого великолепная коралловая ветвь гипсовой белизны. Не из этой ли комнаты вынесли его несчастное тело? — мелькнуло у Некторова. Лишь один новый предмет — крупно увеличенное фото на стене, окантованное траурной рамкой. Увидев его, Некторов обомлел, в горле защекотало, забулькало, и он чуть не расхохотался. Какое дурацки важное лицо у этого парня!

— Садитесь, — кивнула Настасья Ивановна.

Но ни он, ни Октябрева не шелохнулись — так приковал их внимание портрет. Настасья Ивановна вынула из халата платок, промокнула глаза, повторила:

— Садитесь.

Только тогда он перевел взгляд на мать, увидел, какой она стала щупленькой, как небрежно одета — в халате, тапочках на босу ногу, — и, как-то сразу потеряв контроль над собой, рванулся к ней. Она растерянно и неловко обняла его. Беспомощно зарывшись лицом в ее грудь, он невнятно промычал: «Мама!»

— Милый, вы так сильно любили моего сына? — неясная тревога охватила ее. — Кто вы?

Октябрева оглушенно смотрела на них, и лишь когда Некторов опомнился, соскользнула в кресло.

Он провел ладонью по лицу, взял себя в руки. Трезвым сдержанным тоном сказал:

— Виталий проходил в моей клинике ординатуру. Способный был человек. Я бы даже сказал талантливый.

«Однако скромности ему не занимать», — отметила про себя Октябрева, но тут же устыдилась своего вывода — ведь он мать утешал!

— Виталий много рассказывал о вас, — продолжал Некторов, жадно всматриваясь в материнское лицо. «Это же я! Узнай меня!» — стучало его сердце. Однако бесцветные от слез глаза матери смотрели на него с отрешенной приветливостью. Часами она могла слушать о своем сыне, поэтому попросила:

— Расскажите что-нибудь о нем. — И обернулась к Октябревой: — А вы знали Виталика?

— Нет, — смутилась Октябрева.

— Мы поженились недавно, — выручил ее Некторов и неизвестно зачем сочинил: — Моя первая супруга скончалась.

— Значит, и у вас горе. — Настасья Ивановна сочувствующе покачала головой.

Ему стыдно было этой лжи — он никогда не врал матери. Припасть бы сейчас к ее ногам, открыться. Но нельзя.

— Помню, однажды Виталий пришел ко мне сияющий, как медный пятак, — начал он сочинять на ходу, чтобы немного отвлечь ее от грустных дум. — «Вот, — говорит, — смотри». И достает из кармана орех. Обыкновенный грецкий орех. Раскусывает его и подносит мне на ладони: «Ну, как тебе нравятся эти полушария, извилины? Чем не мозг человеческий? Вдруг это растеньице — не что иное, как мыслящий субъект?»

— Да, он был выдумщиком, — улыбнулась мать. — Он и опыты проводил какие-то совершенно фантастические.

— Слыхал, — обрадованно подхватил Некторов. Может, удастся сделать хоть самый малый намек? — Это были операции по пересадке мозга у обезьян. Очень перспективные эксперименты. Кстати, совсем недавно Косовский и Петельков пересадили мозг от одного пострадавшего в катастрофе человека к другому.

— Тоша что-то такое рассказывала, — поморщилась Настасья Ивановна, — но я не вдавалась в подробности. Все это так необычно и, знаете ли, страшновато. Но будь Виталик жив, он наверняка оказался бы в числе этих знаменитых ныне хирургов.

— Виталий писал, что вас его работа не удовлетворяла, — помрачнел Некторов. — И напрасно.

Октябрева напряженно следила за нитью опасного разговора.

— Напрасно вас отпугивала его работа, — повторил Некторов. — Представьте на миг, что мозг вашего сына удалось спасти.

— Зачем такие предположения, — Настасья Ивановна встала. Было видно, что разговор неприятен ей. — Надо что-нибудь приготовить. — Она вышла на кухню. Некторов пошел следом.

— Утешать не умею, — сказал он, чтобы сгладить неловкость. — Скажу одно: Виталий был бы очень огорчен, увидев вас такой убитой.

Она вздохнула:

— Знаю. Он всегда оберегал меня. — И опять тревога закралась в ее сердце. Что-то почудилось в интонациях гостя. Пристально взглянув на него, она отвернулась к плите. А в следующую минуту чуть не вскрикнула — ее обняли за плечи и уткнулись носом в шею точно так, как любил это делать сын. Она стояла, боясь шелохнуться. Вот сейчас обернется и...

«Мама!» — рвалось с его губ, но он сдержался.

— Неладно у меня с сердцем. — Настасья Ивановна присела на стул. Лицо ее было бледно и растерянно. Некторов быстро прошел в комнату, достал из нижнего ящика серванта аптечку, порылся в ней, отыскал корвалол.

Выпив капли, Настасья Ивановна удивленно взглянула на него:

— Как быстро вы нашли лекарство.

— Ничего странного, — стушевался он. — Обычное место для аптечек у домохозяек. Хотите, скажу, где у вас деньги?

Вошла Октябрева, осуждающе уставилась на него. Он замолчал. В самом деле, разыгрался сверх меры.

— Может, вам что-нибудь помочь по хозяйству? — предложил он. — Двери вон скрипят, смазать надо.

— У вас есть техническое масло? — поспешила Октябрева, боясь, что он опять невольно сделает промах и бросится за маслом в свои закрома.

— Право, не знаю. Надо посмотреть в шкафу, на балконе.

— А я схожу в магазин. Что вам купить? — предложила она.

— Зачем же такое беспокойство? — смутилась Настасья Ивановна. — Мы с Тошей тут сами потихонечку.

— Разве Тоша у нас... у вас? — оторопел Некторов.

— Да, — кивнула она, не заметив его оговорки. — Правда, ей нельзя носить тяжелого, но по дому справляется.

— Вот я и схожу, куплю овощей. А Ваня петли смажет и отдохнет немного. Ему нельзя переутомляться, он недавно вирусным гриппом переболел. — И, уходя, Октябрева бросила на Некторова тревожно-предупредительный взгляд.

Он занялся хозяйством: смазал петли, починил кран в ванной. Все это время из кухни доносились частые вздохи матери, и было так тягостно слышать их, что опять не выдержал, подошел к ней, обнял:

— Прошу, не надо так мучиться, — сказал он проникновенно, поцеловал в лоб и ушел в свою комнату.

Сел в кресло, закрыл глаза. Выходит, он выиграл у Манжуровой прошлогодний спор, когда после заседания кафедры сидели в лаборатории. Дым стоял коромыслом, и они втроем — Петельков, Манжурова и он — строили домыслы, что будет испытывать человек с пересаженным мозгом к своим друзьям, родственникам. Помнится, Манжурова цитировала известного романиста, уверявшего, будто чувства будет диктовать не мозг, а тело. Он же доказывал обратное и даже изрек нечто тривиальное: «Мозг — властелин тела». Выходит, был прав. Иначе его не обволакивал бы сейчас этот печально-радостный дурман родного дома, и сердце, чужое бородулинское сердце, стука которого никогда не слыхала Тоша, не билось бы в тревожном томлении, что вот-вот увидит ее.

Придя из магазина, Октябрева энергично потянула его в клинику. Но как он мог уйти, не повидав свою Антонию! Следы ее присутствия были всюду, однако встреча с матерью так взбудоражила, что он не сразу заметил их: томик стихов на столе, платье, перекинутое на спинку стула, тапочки в коридоре.

И он дождался. Щелкнул ключ в замке, вошла она, чуть усталая, грустная, в незнакомом широком сарафане. Видимо, у него был дурацкий вид, потому что Тоша спросила:

— Мама, у нас гость? Он чем-то взволнован? Что случилось?

— Ничего Тошенька, ничего. Эго приятель Виталика, Иван Игнатьевич, а это его жена Лена. Они из Москвы и, должно быть, заночуют у нас.

Некторов так сильно сжал ее ладонь, что Тоша ойкнула.

— Извините, — пробормотал он и тут только заметил, как округлился ее живот, какой она стала женственной. Но не ощутил привычного волнения, которое испытывал всякий раз, когда оказывался рядом с ней. Было только уважение к этой женщине, носящей его будущего ребенка. А милая некрасивость ее лица с квадратным подбородком, которого раньше не замечал, привела в стеснение перед Октябревой. И пока они проходили в комнату, он успел расстроиться от этого открытия. Выходит, рано понадеялся, что остался прежним любящим сыном и мужем.

Октябрева сочувствующе взглянула на него, заботливым жестом сняла с его пиджака нитку.

— У тебя усталый вид, нам пора.

— Куда? — вскинулась Настасья Ивановна. — Никуда не пущу. Переночуете у нас. Правда, Тоша? — Чем-то притягивал ее, тревожно интересовал этот гость.

— Конечно, — подхватила Тоша. — Только давайте поедим, я ужасно проголодалась.

Некторов втайне усмехнулся — вот поди ж ты, он для нее покойник, лежит в земле сырой, а у нее, видите ли, зверский аппетит. И вообще незаметно каких-либо страданий. Но взгляд подозрительный, будто о чем-то догадывается. Или работает интуиция любящей женщины?

За столом Тоша по-прежнему не сводила глаз с Некторова, а он потерянно искал и не мог найти в себе прежнего чувства к ней. Непонятное раздражение поднималось в нем против этой женщины.

— Виталий никогда не рассказывал о вас, — заявила вдруг Тоша.

— Наверное, у него слишком много друзей. И потом он попросту не успел посвятить вас во все подробности своей жизни. — И с досадой подумал: «А ты, голубушка, зануда».

— Однако его обожательницы мне почти все известны, — по губам Тоши лукаво пробежала усмешка, от которой ему стало не по себе.

— И вы осуждаете его? — быстро спросил он с жадным любопытством человека, обретшего редкую возможность услышать о себе правду.

— Я бы не сказала, что было приятно выслушивать его исповеди, но искренность Виталия меня всегда трогала. Кстати, это не самый большой его недостаток. Да что мы, — спохватилась она, — у каждого свои грехи, а я любила Виталия со всеми его слабостями.

Очень хотелось продолжить беседу, но Октябрева уже несколько раз предупредительно наступила под столом ему на ногу.

Так они просидели до позднего вечера, балансируя на грани опасного разговора. Наконец Тоша застелила в соседней комнате тахту и Некторов с Октябревой остались вдвоем. Оба одновременно вздохнули с облегчением и переглянулись.

— Ложитесь, я пересижу ночь в кресле, — сказал Некторов, заметив пикантность нового положения.

— Нет, это вы ложитесь. С меня еще не сняты обязанности вашей сиделки, — возразила она.

День, не богатый внешне событиями, на самом же деле насыщенный потаенной драмой, так утомил, что она еле держалась на ногах. Однако надо было позаботиться о Некторове, иначе неизвестно, чем завершится этот визит.

— Тогда отбросим условности, — предложил он. — Честно говоря, чувствую себя отвратительно. Да и вы бледненькая после этого «чаепития со сдвигом», как у Кэррола в «Алисе».

— Хорошо, — не стала церемониться она. — Только простыни ни к чему. — Сняла постель, и они прилегли.

— Прямо детектив, — ворочался в темноте Некторов. — Лучше быть каким угодно, но при своем теле.

— А она симпатичная, ваша Тоша. Не то чтобы красивая, но милая. И ей очень идет положение будущей матери. А вы до операции были слишком раскрасавцем, мне такие никогда не нравились.

— То-то глаз не могли отвести от моего портрета, — буркнул он.

— Я так боялась, что все откроется!

— Хватит переживаний, — оборвал он. — Спите. — И удивился, почти тут же услыхав ровное дыхание девушки.

На миг все опять показалось плодом чьей-то ретивой фантазии. Чужим, под родной крышей, на одной постели с чужой девчонкой, а рядом, за стеной, мать и жена, и он для них — заезжий гость — что может быть нелепей? В стенах этого дома его прошлая размеренная, веселая и удачливая жизнь, и хоть бейся головой о стол, не вернуть ее. Кто еще так безвозвратно уходил из дому, одновременно оставаясь в нем?

Легкие Тошины шаги. Значит, и ей не спится. Щелкнул выключатель на кухне, скрипнул стул.

Осторожно, чтобы не разбудить Октябреву, встал. Захотелось проверить себя. Неужели Тоша и впрямь теперь для него чужая? Или только при этой кукле испытывает к ней отчуждение? Что, если раньше ему вполне хватало собственной привлекательности и не очень-то важно было, кто рядом? А теперь все по-иному?

— У вас тоже нет сна? — грустно спросила Тоша, когда он вошел в кухню. На столе перед ней лежала пластмассовая коробочка. — Письма Виталия, — призналась она. — А что еще остается, — сказала она, как бы оправдываясь в своей слабости. — Буду теперь перечитывать как сентиментальная дева.

— Вы еще молоды, можете устроить свою жизнь. — Он был растроган, но не более. Казалось невероятным, что эта некрасивая, хотя и приятная женщина, была его подругой, женой. Что же случилось? Куда исчезла его нежность? Выходит, он и впрямь стал другим? Но тогда отчего жива его любовь к матери?

Тоша зябко передернула плечами:

— Только ради него, — кивнула на бугорок живота, — ради малыша стоит жить. А больше уже ничего не будет.

— Что ж, спасибо, — пробормотал он.

— Вы что-то сказали?

— Нет-нет, ничего.

— Что с вами?

— Тоша!

Ему хотелось схватить ее за плечи, шепнуть что-нибудь благодарное и одновременно резкое, неприятное, надерзить — ведь он был в несравненно худшем положении, чем она со своей скорбью. И оттого, что ей сейчас все же лучше, чем ему, он готов был на самое гадкое. Крайней точкой сознания отметил ту бездну, которая разверзлась перед ним, и не смог удержаться, полетел в тартарары. С хладнокровной мстительностью попросил:

— Пожалуйста, бумагу и карандаш.

Она удивленно взглянула на него, однако принесла.

Он сел и написал: «Нектор — Антонии». С удовлетворением отметил, что почерк не изменился. Тоша завороженно следила за его рукой. «Антония, — продолжал он. — Случилось то, чего еще никогда не случалось. Пациент Косовского и Петелькова не кто иной, как я. Да, ясное море, перед тобой — форма чужого дяди, а содержание жениха-мужа»!

Он уронил карандаш, с нехорошим любопытством заглянул ей в лицо — изумленное, недоверчивое, испуганное — и, секунду помедлив, стащил с себя парик, чтобы подтвердить написанное неопровержимым доказательством — кольцевым шрамом на голове.

### 4

Разбитая в детстве банка варенья, списанная задачка по алгебре, печальные глаза женщин, которых оставлял, как только видел, что они слишком привязываются к нему, — таков бы примерный перечень грехов Некторова за двадцать восемь лет. Но и собранные вместе, вряд ли могли они перевесить вину перед Тошей. «Это не я, это все Бородулин — оправдывался он перед собой. — Я на такую подлость не способен». Секреция желудка, работа почек, печени — мало ли что могло изменить химическую формулу крови и подчинить себе рассудок. Тут же спорил с собой: эдак можно списать себе любую подлость. И каменел, вспоминая, как Тоша схватила листок с каракулями и, безумно поглядывая то на листок, то на него, запричитала по-бабьи: «Нет-нет-нет, вы шутите! Да? Отчего вы так нехорошо шутите?»

— Ну? Довольны? — гусыней прошипела на него Октябрева, когда он, бросив Тошу на кухне, вернулся в комнату. Ее белое лицо в полутьме, казалось, фосфоресцирует гневом. Она все слышала. Он сел рядом. Октябрева вскочила как ужаленная.

— Вы сделали это нарочно! Да-да, не отпирайтесь! Я заметила: вы намеренно делаете людям больно. Знал бы Иван Игнатьевич, кто в нем поселился!

Вот как. Кого же он обидел? Разве что нянек, когда засорял палату осколками зеркал и они по полчаса выметали их. Еще препирался с Косовским, грубил Петелькову. Но кому он причинил боль? Девчонка явно перебарщивала. Однако слова ее насторожили.

Его побег из клиники поднял всех на ноги. По возвращении пришлось выслушать не одну нотацию. Бедный Косовский за ночь так переволновался, что выпил полпузырька валерьянки. Он был единственным, кто не ругал, а успокаивал его:

— Ничего, дружище, когда-нибудь это все равно открылось бы. Так что не очень самоедствуй. Впрочем, разрешаю немножко и пострадать — полезно.

Участие Косовского было приятно, но не утешало. Так изощренно нанести удар женщине, которая готовится стать матерью твоего ребенка...

На другой день Тоша прибежала к профессору и заявила, что не выйдет из кабинета, пока не убедится в истинности слов вчерашнего гостя.

— Он вам не соврал, — с сочувствием сказал Косовский и разложил пред ней документы по операции Некторова — Бородулина.

Тоша долго не могла прийти в себя. Молча сидела со сжатыми кулачками, и лицо ее то вспыхивало изумлением, то темнело горечью.

Наконец она встала и твердо заявила:

— Он дорог мне в любом облике. Так и скажите ему.

— Но это уже незнакомый вам человек и безответственно так заявлять, — сказал профессор. — Его душевный мир так же изменился, как и тело.

— Что ж, будем знакомиться заново, — сухо сказала она и спросила, когда можно встретиться с... — Тут она запнулась, выразительно посмотрев на Косовского.

— Да-да, он все-таки Некторов, — кивнул профессор, и она облегченно вздохнула.

Но когда Косовский доложил Некторову о желании Тоши увидеться с ним, то вызвал такую бурю гнева, что поспешно поднял руки: «Все-все, сдаюсь! Значит, не пришло время».

Он опять замкнулся в себе. Часами лежал, глядя в потолочное зеркало, и велел никого в палату не впускать. Однако тайное всегда становится явным. Слухи о том, что уникальный пациент Косовского не кто иной, как Некторов, проникли в институт, и смешанное чувство жалости — жив! — любопытства и страха охватило всех, кто знал его.

Но Косовский поставил надежный заслон — больному нужен покой. А где он, покой? Чего стоила одна Октябрева! Узнав, что в завтрак он съедает по два яйца, сделала ему очередной выговор.

— Подумаешь, высыплют красные пятнышки на моем неуважаемом теле, — усмехнулся он.

— Не смейте так говорить! — Она стукнула кулаком по тумбочке. — Это плохое отношение к Ивану Игнатьевичу. Он не смотрел на себя наплевательски!

Ему вдруг стало весело.

— О да! Он холил свое тело. Оттого-то у меня проклятая одышка, когда взбираюсь по лестнице. Разъелся как баба.

— Вы... вы! — Не найдя слов, Октябрева топнула ногой.

— Извините, — он манерно склонил голову. — Сами завелись.

— У Ивана Игнатьевича это возрастные изменения, — не могла успокоиться она. — Неизвестно, каким бы вы стали через десяток лет.

— Уж поверьте, не таким уродцем!

Ее искреннее возмущение доставляло удовольствие. И уже не столько из-за вражды к Бородулину, сколько разыгрывая девушку, он продолжал:

— Право, не очень удобное вместилище выбрали коллеги для моего великолепного серого вещества.

— Да вещество Ивана Игнатьевича куда великолепней! — не уловила она его иронии.

— Вряд ли. Иначе позаботился бы о моем будущем и сумел придать своему телу приличный вид. В рюмку он случайно не заглядывал?

Они долго перебрасывались колкостями, а потом Октябрева вдруг расплакалась. Громко, жалобно, в голос.

— Что вы, Лена, — растерялся он. — Ну извините, если обидел.

— Ой, да что же это я вас все время... — всхлипнула она. — Это я — дрянь, дрянь, дрянь!

Он подошел к ней, погладил по голове. Чуть задержался на влажной челке и отдернул руку. Теплой волной окатило его с ног до головы, жаром плеснуло в лицо, судорогой стянуло горло. Поспешно глотнул воздух. Впервые в чужом нелюбимом теле вспыхнула тоска по женскому теплу. «Выходит, я и впрямь живой», — с изумлением подумал он.

Октябрева испуганно подняла на него заплаканные глаза, губы ее дрогнули, и он с греховным головокружением погрузился в открывшуюся перед ним глубину.

Ночью он не то летал, не то плавал в теплой, пульсирующей звездами бездне. Сердце то сжималось в необъяснимом стыде и страхе, то ликующе рвалось из груди. И Некторов впервые подумал о Бородулине с благодарностью — надо же, чем наградил его!

Зато утром встал мрачный, как никогда. Мучительно хотелось стянуть, сбросить, растоптать лягушечью кожу чужой внешности и явиться перед Октябревой в своем первозданном виде.

Как обычно, она пришла к восьми, сделав ему две инъекции, дала таблетку глюкозы с аскорбинкой. И все это без слов, старательно отводя глаза от его пристального взгляда. После завтрака сказала:

— Вам нужен свежий воздух. Мы с Косовским подыскали в парке аллею, где вы не рискуете попасть под обстрел любопытных глаз. Там и беседка есть, можно посидеть, почитать.

— Вас и вправду волнует мое состояние?

— Почему бы нет? Кстати, вот письмо, — она вынула из халатика конверт, протянула ему.

Он нахмурился.

— Будь вы озабочены моим спокойствием, не вручили бы это. — Распечатал конверт и, пока Октябрева крутилась у ангиографа, прочел письмо, — Они жаждут меня видеть, — сказал с ухмылкой.

— Кто? Жена?

— А то кто же.

— Вот и встретьтесь.

— Ах, какая вы добренькая! Зачем нам встречаться? Разве чтобы извиниться друг перед другом? Ей — за то, что помнит мои слабости, мне — за тот скверный вечер.

— Хотя бы. — Она мельком взглянула на него, и, как вчера, перед ним все поплыло. Обычно в таких случаях он не раздумывал: подходил к девушке, обнимал ее. И сейчас уже было сделал шаг в сторону Октябревой, но спохватился.

Она рассмеялась глазами и выскользнула в коридор. В бородулинском теле ходил совсем другой человек, и Октябрева терялась. Еще была свежа память об Иване Игнатьевиче, но то, что сейчас шло от Некторова, тревожно волновало.

Оказывается, страдал он вовсе не от боязни быть неузнанным близкими друзьями — узнала ведь Тоша! — а от своей невзрачности. Комплекс неполноценности, который был чужд ему и над которым раньше он добродушно подтрунивал, теперь стремительно развивался, угрожая придавить, пригнуть к земле.

Если бы ему вздумалось сейчас вести дневник, он разделил бы тетрадь на две части и так озаглавил их — «Моя первая жизнь», «Моя вторая жизнь». Первая часть была бы мемуарной, вторая регистрировала бы события сегодняшнего дня сквозь призму вчерашнего. Но дневник выдал бы его с головой, со всей очевидностью открыв, что прежнего Виталия Некторова нет.

В своей первой жизни он не любил философствовать и вообще всякое мудрствование считал уделом людей слабых, в чем-то ущербных и потому ищущих опоры извне. Его здоровую жизнедеятельную натуру не интересовали рассуждения о смысле жизни, о смерти и других высших материях. У него было любимое дело, была личная жизнь, планы на будущее. Что еще? Но теперь, когда катастрофично повзрослел на семь лет, одолевали мысли, которые в нормальных условиях пришли бы, наверное, лишь в старости.

Он вызывал в памяти свой прежний облик и пытался осмыслить, какая информация была заложена в нем и для чего. Вот он шел по городу или входил в троллейбус, ловил взгляды встречных, пассажиров. Неужели его профилем любовались, как любуются прекрасной статуей, живописным пейзажем или причудливой вазой? Может, внешность все-таки неосознанно проецируют на духовную суть человека? Но невзрачность Тоши скрывает самоотверженное нежное сердце. И кто знает, чем еще обернется красивость Октябревой. А может, одно из достоинств человека и состоит в том, что он способен вылупиться из оболочки гадкого утенка? И вот перед нами прекрасный лебедь, даже если он по-прежнему напоминает полуощипанную курицу — мы уже просто не замечаем этого.

Так все же о чем говорило людям его прежнее лицо? Что они читают в его лице настоящем? Да, внешность не безличностна. Сказал ведь философ, что длина носа египетской царицы перекроила карту мира. Или это всего лишь блестящая метафора?

Что, если нашим обликом диктуются многие поступки и косвенно он и впрямь влияет на ход истории? Не стал ли человек более энергичным в тот день, когда вдруг увидел в озере свое отражение и осознал себя индивидуальностью? Запрограммированное природой чувство красоты привело его в ужас от созерцания собственной внешности. Все, что он потом делал: пахал, сеял, строил, сочинял, — все преследовало одну цель: доказать и себе, и другим, что он лучше того чудовища в зеркале озера... Незримая работа мозга тысячелетиями оттачивала грубые, тяжелые черты нашего предка, пока наконец сквозь них не проглянуло лицо. Но человечество, даже его лучшие по физическим данным экземпляры, все еще не ощущало себя совершенством, и работа продолжалась: пахали, сеяли, строили, сочиняли.

Некторов понимал — его умствования наивны, под стать рассуждениям школяра в переходном возрасте, когда болезненно относятся к каждому прыщику и веснушке. Однако мысль вновь и вновь вертелась вокруг одного и того же. Без устали перебирал в памяти друзей, коллег, будто отыскивал тот стереотип поведения, который более соответствовал его сегодняшней личине. Порой мерещилось, что наконец нащупал закономерную связь между характером, социальной сущностью и внешностью человека. Холодная заносчивость, высокомерие Манжуровой наверняка порождены ее осиной талией, длинной шеей, притягательными формами бедер и груди. Что, как не близорукость и приземистость ее мужа, придают его лицу печать жалкой улыбки и растерянности? И, конечно же, самая прямая связь между нескладной донкихотской наружностью Котельникова и его романтической тягой к путешествиям. Но уже в следующую минуту все построения разбивались в прах, потому что среди женщин с осиными талиями и длинными шеями находились отнюдь не гордячки, и на одного путешественника с нескладной фигурой приходилось три домоседа такой же наружности.

Его терзания лучше всех понимал Косовский, но так явно он желал от него подвижничества на благо науки, что это злило. Нужно было сначала разобраться в себе, заняться устройством, обживанием своей новой телесности. А тут еще Октябрева... Практика уже давно прошла, а она все еще околачивается в клинике — носится с заумными книгами, которых, конечно же, разбирается, как заяц в азбуке.

— Ну зачем вам это? — не выдержал он, подцепив забытый на тумбочке том Спинозы. — Интересничаете? Это с вашими-то прекрасными ресницами?

Она гневно стрельнула в него глазами, схватила книжку, полистала и, слегка волнуясь, прочла:

— «Душа может воображать и вспоминать о вещах прошедших, только пока продолжает существовать ее тело». Разве не любопытно? Если под душой подразумевать психику, память, носитель которой мозг, то, выходит, в данном случае философ не прав? Я вовсе не интересничаю. Я сейчас много думаю. А у вас было такое? Живешь себе нормально, вроде бы никаких уже тайн для тебя нет, и вдруг будто сноп света из облаков — брызнул и осветил то, мимо чего раньше с закрытыми глазами проходила.

— И такая сладость разоблачать гениев, да?

Она пропустила его насмешку мимо ушей.

— За два месяца чего я только не перечитала! И Циолковского, и Федорова, и Кларка. Представьте, вполне с материалистических позиций они утверждают: в будущем человек приобретет совсем иное тело, а со временем, быть может, и вовсе избавится от телесной оболочки.

— Наконец-то полюбили фантастику!

— Да нет же, Николай Федоров — наш русский Фейербах XIX века, а Циолковский и Кларк — последователи его философии, а не только фантасты-мечтатели. — И с горделивой ноткой сообщила: — Я недавно открытие сделала.

— Ну? — Он уже откровенно любовался ею: щеки ее заливал румянец, глаза блестели, челка взлохматилась. То, что она так близко принимала к сердцу его беду, радовало и волновало.

— Я открыла, что человек биологически продолжает эволюционировать.

— Что, уже кто-то сбросил с себя кожу? Или отказался пользоваться руками и ногами?

— Нет, я серьезно. Эволюция вот в чем: увеличение продолжительности жизни — раз, акселерация — два, смешение рас и в связи с этим появление нового вида человека — три.

— Это открытие, девочка, было сделано, когда вы еще не значились в проекте. Дополню четвертый пункт — наследственные изменения. Но я бы не хотел, чтобы лично вы эволюционировали. Поверьте, человеку долго еще, если не всегда, пребывать в телесном образе. — Он разошелся, говорил с жаром, увлеченно. — Оглянитесь — не так уж и много их, внешне совершенных людей. А должно быть больше, гораздо больше — в самой природе заложена идея красоты. Материя просто жаждет побывать в прекрасной человеческой форме. У скульптора тоже не сразу получается произведение искусства. Так и природа — тщательно лепит человека, и впереди у нее еще много работенки. Но я сейчас вот чем озабочен. Известно, что любят нас за наши свойства: прекрасную внешность, душу, деловые качества и даже за мохеровый свитер. Жену Бородулина, вероятно, привлекали внутренние качества Ивана Игнатьевича. Какие именно?

— Вам не нужно подстраиваться под него.

— И не собираюсь. Мне интересно — можно ли в чужой оболочке быть внутренне гармоничным?

— Сомневаетесь, придетесь ли по душе Миле Михайловне?

— Не сомневаюсь, хочу знать.

— А вы уверены, что раньше были гармоничны?

Этот странный человек с внешностью Ивана Игнатьевича все больше притягивал Октябреву. Она безмерно хотела помочь ему, но как это сделать — не знала. Из своего невеликого житейского опыта ей было известно, что настоящей драмой внешность может обернуться только для женщины. Но тут был иной случай. На ее глазах перестраивалась психика Некторова. И наблюдая, в каких судорогах и борениях он прилаживается к новой оболочке, пыталась облегчить ему этот процесс.

Тот случай, на днях, когда Некторов прикоснулся к ней, что-то изменил, перевернул в их отношениях. Отчасти она все еще воспринимала его Бородулиным, соседом по дому, уважаемым отцом семейства. Но Иван Игнатьевич никогда не смотрел па нее так резко, грубовато. Как ни странно, это нравилось. И не однажды она ловила себя на мысли, что ей боязно отпускать его на волю судьбы, потому что уверена — только рядом с ней он обретет душевное равновесие. Поэтому, когда Некторову разрешили выходить за пределы клиники, она, к своему стыду, устроила за ним слежку.

### 5

В этот угол парка больные забредали редко, только по воскресеньям, когда не было процедур и врачебных обходов. Тенистая аллея среди старых разросшихся каштанов вела в беседку, скрытую от глаз диким виноградом. Рядом — сосновая рощица, в которой водились клесты.

Еще издалека Некторов увидел Тошу. Она расхаживала возле беседки, напряженно поглядывая по сторонам. Вот заметила его, неуверенно пошла навстречу. Светлое широкое платье свободно облегало ее раздавшуюся фигуру, и снова она показалась чужой, незнакомой. Остановились. С минуту молча рассматривали друг друга. Наконец он предложил:

— Сядем?

Вошли в беседку, уселись на противоположных скамейках и опять уставились друг на друга.

«Пусть это не совсем Виталий, все равно буду любить и жалеть его, — мысленно уговаривала себя Тоша, стараясь держаться поспокойней. — Хуже, если бы передо мной оказался Виталий, не помнящий о наших встречах, о моих руках и губах. Буду считать, что он всего лишь переоделся». И все старалась отыскать, но не находила в этом хмуром толстеньком человечке черты утерянного мужа.

«Что ей надо от меня? — думал в это время Некторов. — Или одолевает любопытство, каков я теперь? А может, беспокоится об алиментах на будущего ребенка? Да нет, она не мелочная, ее мысли вовсе не об этом. Но ведь не продолжает же, в самом деле, любить мою душу? Смешно. Моя душа насквозь пропиталась бородулинскими соками, значит, я теперь не тот, и нужно сказать ей об этом». Но неожиданно спросил:

— По школе очень соскучилась?

Тоша вздрогнула. Низко, почти у лица, порхнула какая-то птаха.

— Клест, — пояснил Некторов. — Здесь много клестов. Бытует поверье, что эти птицы переносят людские болезни на себя.

— Так их нарочно развели здесь?

— Нет, конечно. Предрассудки все это. Хвойная рощица, вот и поселились.

«Об этом ли нам говорить?» — подумала она и, не сводя с него глаз, сказала:

— Я знаю, о чем вы... то есть ты... Да, ты! Знаю, о чем сейчас твои мысли.

«Меня раздражает твой квадратный подбородок, но тебе никогда не догадаться об этом!» — мелькнуло у него. Сухо сказал:

— Я вел себя по-свински, прости.

— Да что ты! — Глаза ее влажно покраснели, она с трудом улыбнулась и замахала руками: — Ты молодец, умница! Что бы я делала, если бы так ничего и не узнала? Все эти дни я только о тебе... О том, как хорошо нам было в лагере и как мы надолго поссорились, потом помирились, и было еще лучше. Теперь уже все знают, что с тобой случилось — и Манжуровы, и Котельниковы. Все ужасно рады, что ты жив! Ну представь: каждое воскресенье бегали туда...

— На кладбище, что ли?

— Ну да. И вдруг... Говорят, такую штуку мог отколоть только ты. Рвутся, хотят увидеть тебя.

— Еще чего! — Он заерзал по скамье. — Ни в коем случае, пока я этого не захочу сам!

— Да-да, конечно, — спешно согласилась она. — Только не волнуйся, тебе нельзя волноваться.

— Очень переживали? Только честно!

— И не стыдно о таком?..

— А народу было много?

— Ой, много! — Тоша обхватила голову руками, припомнив тот тяжкий день. — Студентки рыдали. А одна девушка, говорят, дня три не уходила с кладбища.

«Интересно, кто бы это?» — тщеславно подумал он.

— Запомни, для женщины...

— Внешность мужчины мало значит?

— Представь!

— Но ведь я не просто сменил костюм. Я теперь химера: то ли грифон, то ли кентавр, то ли русалка! Словом, черт знает кто.

— Не надо так о себе. — Она вынула платок из кармана широкого, присборенного на кокетке платья и приложила к глазам.

— Ты вот что. — Губы его скривились. — Маме пока ни слова. Или уже проболталась?

— Нет, конечно. Боязно...

Он прочел в ее глазах жалость, и его стал разбирать смех. Вот уж никто, кроме матери, и то, когда он был ребенком, не жалел его.

— Тоша, голубушка, — он встал, подошел к ней, взял за руку. — Неужто тебе и впрямь жаль меня?

— У нас будет сын, похожий на тебя прежнего, — сказала она, глотая слезы.

Ему почему-то было неприятно услышать это. Он уже начинал привыкать к себе теперешнему, и ее слова были восприняты как отталкивание от его нынешнего облика, в то время как Тоша тянулась к нему со всей открытостью и щедростью своей натуры. То, что он жив, было радостным и горьким чудом, которое она приняла с горькой необходимостью,

— Все так необычно, — говорила она сбивчиво, прикладывая к мокрым щекам ладони. — До сих пор я считала, что операции, о которых ты рассказывал, не скоро, в будущем... С другими. И вот... Я верю, ты выдержишь все это... А мама... Господи, это же мама! Вот увидишь, все будет по-прежнему. Знаешь, — она вскинула голову, — Арахна в греческих мифах, даже став пауком, продолжала ткать свою нить.

— Благодарю за прелестное сравнение, — усмехнулся он.

— Что это я... — Она в отчаянии потерла виски. Губы ее дрожали. — Я ведь вот о чем: в любых обстоятельствах человек не меняет своей сути. Не должен менять.

— Успокойся, — он сочувственно сжал ей руку.

Она жалобно улыбнулась:

— Мне еще нравится у Толстого: каждый недоволен своим состоянием, но никто не жалуется на отсутствие ума. А помнишь, когда мы сбежали из лагеря на два дня в Симеиз, ты читал мне на пляже Звягинцеву:

Но вот какое диво:

душа горит всего сильней, когда

прекрасное бывает некрасиво

и пышности в нем не найдешь следа.

«Ну не забавно ли? — подумал он. — Октябрева подбадривала философией, Тоша стихами. Удивительный народ — женщины».

Знакомым жестом Тоша очертила пальцем его профиль со лба до подбородка:

— Я скоро привыкну. Обещаю.

Такое легкое примирение с его новым обликом вовсе не обрадовало. Он неловко отпрянул, смутился и выскочил из беседки.

— Вот, полюбуйтесь! — Петельков бросил на стол профессора ворох корреспонденции. — Больше половины из-за рубежа. Несколько писем мне, остальные вам. Умоляют, настаивают и даже требуют, чтобы поскорее опубликовали подробности операции.

— И мало кто интересуется ее последствиями. — Косовский распечатал два письма, бегло пробежал глазами и отложил.

— Не кажется ли вам, что Некторов слишком прижился в клинике? Волнует его нелюдимость, замкнутость, нежелание видеть друзей и родных. Все это логично, ожидаемо, но есть ведь предел...

— Не торопите события, Борис Григорьевич.

— А чем кончилось его свидание с женой?

— В тот день он почти ничего не ел, а Тоша ушла с заплаканными глазами.

— Меня до сих пор считает своим первым врагом.

— Это не должно удручать. Есть нечто более серьезное.

— И все же неприятно, когда на тебя косятся как на преступника.

— Кое-что мне уже нравится в нем. — Косовский достал из ящика стола пачку бумаг, порылся в них и вынул листок в клетку. — На днях дал ему посмотреть эту канцелярию. Говорю: «Наделал переполох, теперь помогай. Мне нужен секретарь». Попросил ответить на несколько писем. И что вы думаете? Нахулиганил, как мальчишка. Но меня это даже обрадовало. Вот послушайте: «Уважаемый профессор Моррисон! Вас интересуют подробности нашумевшей операции «Некторов-Бородулин»? Спешу сообщить: операция столь проста, что скоро ее будут делать конвейерным методом. При этом желательно, чтобы мозг, предназначенный для трансплантации, имел побольше извилин, а тело, к которому его пересаживают, соответствовало современным стандартам красоты. В противном случае ваши пациенты могут проделать подобный эксперимент с вами».

— Не понимаю, что вас восхитило. Я бы, наоборот, оскорбился.

— Напрасно, он ведь немного подтрунивает над самим собой. Это хороший признак.

Петельков хмыкнул что-то неопределенное, прихватил истории болезней и ушел.

Косовский, быть может, как никто, понимал сущность разлада Некторова с самим собой. Вина перед коллегой не покидала его ни на минуту, и он спрашивал себя — была бы она такой же острой, если бы пациентом его оказался чужой человек?

Он рассматривал рентгеновские снимки, когда внимание его привлекли шум и крики в коридоре. Дверь кабинета распахнулась, на пороге выросла женщина — худая, взъерошенная, с пестрой вязаной сумкой и в желтых туфлях на такой высокой платформе, что они казались маленькими ходулями. Сердце профессора оборвалось — он узнал, кто перед ним. Неустойчиво покачиваясь на каблуках, женщина быстро вошла в кабинет. За ней влетели две медсестрички.

— В чем дело? — Косовский снял очки и вышел из-за стола.

— Мы не пускали!

— Она сама! Такая нахальная!

Сестрички вцепились в женщину и потащили к двери.

— Я — Бородулина! — взвизгнула она. Ее остроносое лицо так негодующе зарделось, что и на блондинистые волосы лег розоватый оттенок. — Бородулина я! — повторила она с ноткой угрозы.

— Оставьте ее, — приказал он сестрам.

— Силой прорвалась, — виновато объяснила старшая.

— Уже была у палаты Некторова, — уточнила молоденькая, с крупными веснушками на щеках.

Косовский гневно взглянул на них и обратился к посетительнице:

— Садитесь, Мила Михайловна. Мы ведь как договорились — подождать еще недельки две. И незачем лишний раз напоминать, кто вы. Вас тут хорошо знают.

Она победно оглянулась на удаляющихся сестер, одернула пестрое мешковатое платье из трикотина и села.

— Что случилось? — Косовский внутренне подготовился к тому, чего ждал со дня на день.

— Михаил Петрович, мне сказали... — Острый носик Бородулиной покраснел, она сделала многозначительную паузу, после которой напористо, с вызовом сообщила: — Я знаю все!

— Что «все»?

— Все.

— Ну и?..

— А это смотря что вы ему там вставили. Если чего-нибудь похуже, я буду жаловаться министру здравоохранения.

— Почему «похуже»? Разве было что-нибудь не очень?

— Представьте. Только в последние два года образумился. А до этого — страшно вспомнить! Ну скажите, разве не срам, работая фотографом, жить на одну зарплату да еще держать семью в долгах!

— Отчего же так получилось? Ведь он не пил.

— Да, но я женщина, мне хочется выглядеть как все. А тут еще двое детей. Вон друг его Котиков уже и «Волгу» купил, и норковую шубу жене. А этот все фотографировал какую-то гадость: стебли растений, лоскутки, крашеную воду. А потом на пещерах помечался. Как воскресенье, так его несет с аппаратом в горы. Хорошо хоть люди подсказали, как его приструнить.

— И как же?

— Пригрозила разводом, и что малышек с собой возьму. Без меня, предположим, он прожил бы, а вот девчонок любит безумно. Вмиг за ум взялся. Стал подрабатывать на стороне, забросил свои нелепые съемки. И вообразите, даже внешне посолиднел. А то был щупленький как мальчишка.

Последняя фраза заинтересовала Косовского.

— И что, всего за два года располнел?

— Не располнел, а посолиднел, — повторила она. — Лицо у него стало другое. Ответственное, что ли. Так мне надо знать, лучше он стал или хуже.

Косовский с минуту молчал. Вот поди ж ты, поговори с этой особой серьезно, если до нее не доходит главное.

— Не лучше и не хуже, — сказал он, стараясь не раздражаться. — Он совсем другой. И вас теперь не узнает.

— Это как не узнает? — Бородулина вскочила. — Да я... Сегодня же напишу в министерство! — Ее бегающие глазки, казалось, вот-вот ускользнут с лица. Она скандально подступила к столу. — Я этого так не оставлю! Покажите мне мужа! Сейчас же!

— Мила Михайловна, вы умная женщина. Сядьте. — Косовский обнял ее за плечи и усадил. — Подождем немного, он сейчас в неважном самочувствии. Но если вы так настаиваете, скажу правду: Бородулина, как такового, нет. Человек, с которым вы скоро увидитесь, Некторов Виталий Алексеевич.

— А дети?! — опять вскрикнула она. — А регистрация в загсе?!

— Пусть вас это не волнует, уладим. Детям будет назначено солидное пособие. Впрочем, ничего еще не известно. Может, все будет по-прежнему.

Бегающие глазки понемногу успокоились. Бородулина шумно вздохнула.

— Ладно, посмотрим, — примиряюще сказала она и встала. — Я тут принесла ему тертую смородину в сахаре. — Она вынула из сумки баночку и поставила на стол. — Его любимое лакомство.

«Кто его знает, что он теперь любит», — подумал Косовский.

### 6

Весь день взбалмошно и весело девочки хлопали дверьми: то схватят кусок яблочного пирога, то вынесут во двор и опять занесут игрушки. Потом прибежали, затормошили:

— Мы на качели, тут недалеко. Мамочка, ну пожалуйста!

— Идите, ради бога, — отмахнулась Бородулина и устало опустилась на диван.

За весь выходной и не присела. Чего только не переделала: и стирала, и полы мыла, и обед готовила. Даже пирог испекла к приходу Валентины. Подруга должна была появиться с минуты на минуту, и Мила Михайловна то и дело поглядывала на часы — скорей бы!

Две недели она хранила от всех свою невероятную тайну, честно выполняя просьбу Косовского держать язык за зубами. Молчание дорого стоило ей — начались мигрени. На работе путала в документации фамилии и цифры, стала рассеянной, раздражительной. Коллеги сочувственно вздыхали — надо же, как переживает за супруга! О подробностях беды, постигшей Бородулина, никто не знал.

К концу второй недели вынужденного молчания Мила Михайловна ощутила такой зуд в груди, что начала срочно думать, кому бы излить душу. После некоторых раздумий остановилась на своей сослуживице Валентине Сойкиной. Это была женщина, которой Бородулина ни разу не позавидовала. Незамужняя, в одной комнате с больной матерью-старухой, Валентина являла собой пример неудачной тихой жизни и умела искренне сочувствовать другим.

Будь Бородулин законченным покойником, Мила Михайловна искренне бы скорбела по нему и, как это бывает, возможно, заново полюбила бы. Но сейчас ее одолевали самые противоречивые чувства. «Охламон ты мой невезучий», — думала она порой с горькой нежностью. Но вдруг накатывала ярость, и она рвала и метала, бормоча: «Погоди, встретимся, разберемся, кто ты теперь. И тогда...» Что будет тогда, Бородулина не знала.

Чуть не ежедневно она совершала набеги на клинику, прихватывая с собой дочерей. Часами простаивала у проходной, слезно умоляя впустить. Но все кончалось тем, что вызывали дежурного врача, давали ей бром, валерьянку, уговаривали держать себя в руках и терпеливо ждать. В такие минуты ей нравилось быть в центре внимания — на нее смотрели с уважением и сочувствием. А ведь рано или поздно пресса объявит имена пациентов доктора Косовского, и тогда ее фамилия, а может, и фотография, замелькает на газетных страницах. Нет, она, конечно, до глубины души потрясена тем, что случилось с мужем, но мысль о возможной популярности их семьи все чаще приходила в голову.

То-то запричитает, заахает, узнав обо всем, приятельница Валентина.

И Мила Михайловна так ясно представила, как усядутся они за стол, как нальет она в стопочки винца и проговорит со слезами на глазах: «За покойного Ивана Игнатьевича!» — «Ну?! — подпрыгнет подруга. — Неужто скончался? Что же до сих пор молчала?» — «И скончался и в то же время жив», — скажет она загадочно, промокнув глаза платком. «Ничего не понимаю», — пробормочет Валентина. «Думаешь, я понимаю!» — воскликнет она. И вот тогда обрушит на подругу свою тяжелую, невыносимую тайну.

Позвонили. Мила Михайловна вскочила, бросилась к двери. «Наконец-то пришла», — подумала она.

На пороге стоял Бородулин. Был он бледный, чуть осунулся, и одежда висела на нем, как с чужого плеча.

Отпустили! — охнула она, забыв на миг обо всем, что рассказывал Косовский. Засуетилась, забегала, схватила его под руку и потянула в комнату.

Тощая, кудрявая блондинка не понравилась Некторову и привела в замешательство, когда вдруг разрыдалась на его груди. Тут же откуда-то появились две девчушки лет пяти и семи, очень похожие на Ивана Игнатьевича, и эта похожесть неожиданно отозвалась теплым еканьем в сердце.

— Что, малышки, как жизнь? — деланно бодрым тоном спросил он, смущенно проходя в комнату и присаживаясь на стул. — Вас зовут...

— Ира и Кира, — быстро подсказала Мила Михайловна, испуганно взглянув на него.

— Ира и Кира, — повторил он.

— Какой ты стал смешной, — девочки рассмеялись. — Когда выздоровеешь, сыграешь с нами в «тумборино»? — спросила младшая.

— Я потом все объясню. — Бородулина прижала к щекам Некторова ладони и жадно заглянула ему в глаза. — И вправду не совсем тот, — пробормотала она. — Погуляйте еще, — отстранила от него девочек.

— Мы так соскучились, — обиделась старшенькая.

— Ты обещал поехать с нами в лес и наловить под цветочками лампумпонов. Мы увидим их, правда? — прошепелявила малышка.

— Обязательно увидим. — Некторов погладил Киру по голове.

Странно знакомым показалось тепло девочкиных волос под рукой, будто уже не раз прикасался к ним. Захотелось обнять ее, усадить к себе на колени, но Мила Михайловна решительно выпроводила дочек за дверь.

«Неужели это память бородулинского тела? — подумал он. — Но тогда почему я безразличен к его жене? Более того, она глубоко не симпатична мне».

Он оглянулся. Комната была заставлена самодельными книжными шкафами и стеллажами, между которыми висели большие и маленькие фотографии морских, горных пейзажей и странные фотофантазии с непонятными контурами, квадратами, спиралями.

— Этот профессор чуть с приветом, да? — В голосе Бородулиной прозвучала надежда. Муж почти не изменился, и трудно, невозможно было поверить в то, что перед ней чужой человек, как уверял Косовский. — Болтают, вроде ты другой?

— А каким бы вы хотели меня видеть?

— Чего развыкался? Я ведь знаю на тебе любой закоулок.

Некторов смутился. Потом переспросил:

— Так все же, каким вы хотели бы меня видеть?

— Лучшим, — отрезала Мила Михайловна. — Практичным и ответственным за семью. Без заскоков.

И он вдруг всей кожей ощутил, как скучно и тоскливо жилось Бородулину с этой женщиной. Встал, прошелся по комнате. Мила Михайловна забегала рядом:

— Ну хоть скажи что-нибудь, успокой мою душу, — лепетала она. — Что теперь нам делать?

— Да ничего, — сердито ответил он. — Мы с вами — совершенно чужие люди.

— Ах ты, господи, — она всплеснула руками. — Нет, все это не доходит. Что же, теперь и жить здесь не будешь? А что соседи скажут? Позор-то какой! А девочки? — она вцепилась в его рукав.

— Я-то при чем? — пожал он плечами.

Бородулина возмущенно подскочила:

— Или не эти руки обнимали меня больше семи лет? Не эти губы целовали?

Некторов покраснел. А Мила Михайловна разошлась не на шутку.

— Чихать я хотела, что у тебя нынче в твоем черепке! Вот он ты, с твоими юродивыми глазами нищего мечтателя, от чьих фантазий в этом доме никому ни холодно ни жарко!

— Это уж слишком! — вскипел он, вдруг обидевшись за Бородулина. — Дочери обожали вашего мужа. И вот это, — он кивнул на стену с фотографиями, — мне нравится гораздо больше, чем побочная халтура, на которую вы его толкали.

— Еще бы, — горько скривилась Бородулина. — Цирковые фокусы всегда эффектны. А у меня уже сил не было смотреть на эту придурь! — Она подбежала к стене, плюнула на нее, а потом стала одну за другой срывать фотографии и бросать на пол, приговаривая:

— Вот! Вот тебе! И еще вот!

«Ну, чумная баба. Бедняга Бородулин, с какой мегерой жил», — подумал Некторов и незаметно успокаивающе погладил свою руку.

Мила Михайловна была вне себя. Она топтала снимки ногами, комкала, рвала на кусочки.

— Стоп! — вскрикнул он в тот миг, когда Бородулина протянула руку к последней причудливой фотографии. Показалось, что сквозь пятна туманной Галактики на фото мелькнуло человеческое лицо.

— А-а-а, самую фокусную пожалел! Еще бы! Два часа возился, мозгуя, как бы поинтересней намазать на хлеб горчицу. На, лопай! — Она сорвала фотографию и бросила Некторову под ноги.

Он поднял снимок, стал разглядывать его, то приближая к глазам, то отдаляя, и с изумлением обнаружил, что фото двупланово. При близком рассмотрении на нем были какие-то космические завихрения, скопища звезд. Но стоило отвести фото подальше от глаз, как на нем четко вырисовывалось бородулинское лицо. Лекторов сразу узнал его, а узнав, поразился: оно не было похоже ни на одно изображение Бородулина, с которым его познакомила Октябрева. Лицо Ивана Игнатьевича было тонким, одухотворенным, глаза смотрели проницательно, насмешливо и мудро. Стоило чуть сдвинуть фото, и лицо исчезало.

— Горчица, намазанная на хлеб, — в раздумье сказал Некторов. Перевернул фото и прочел на обратной стороне: «Превращение». — Что вы сделали с ним, Мила Михайловна? — с горечью сказал он.

— С кем?

— С мужем своим. — Он спрятал фото за пазуху и пошел к двери.

— Куда?! — рванулась Бородулина. Обняла, припала к груди. — Все равно это ты, Ваня! Ты, ты! Голос твой, и все твое!

— Нет, Мила Михайловна, — твердо и неприязненно сказал он. — Но я буду навещать вас и детей, если хотите. Только не устраивайте больше таких сцен.

— А ты докажи, что ты — это не ты! — Она неожиданно приняла воинственную позу.

Он мягко отодвинул ее, вышел за дверь и на площадке столкнулся с Октябревой. Она стояла с девочками Бородулиной и рассказывала им что-то забавное, от чего они хлопали в ладоши, смеясь от удовольствия.

— Неужто шпионите? — радостно изумился он.

— Вот еще! Я здесь живу! — вспыхнула девушка. Глаза ее стали огромней, глубже.

Фотография «Превращение» висела теперь на стене в палате Некторова, и он подолгу рассматривал ее. Притягивала не столько техника фотоснимка — когда при легком повороте головы из звездной туманности вдруг появлялось лицо, — изумляло само лицо: выражение глаз, одухотворенность, которая скрашивала неправильные черты, придавая лицу особую, как бы сотворенную самим человеком красоту. Снимок был сделан, вероятно, лет пять-шесть назад. В последнее время Бородулин огрубел, располнел. Уж не потерял ли он и некий жизненный ориентир, проживая с Милой Михайловной? Снимок что-то подсказывал Некторову, но подсказка эта была еще невнятной.

Через несколько дней он устроил себе новое испытание: позвонил Верочке Ватагиной, назвался поклонником ее таланта и спросил, нельзя ли им встретиться — у него важное к ней дело. Верочка немного поломалась, но потом согласилась — уж слишком серьезен и настойчив был голос незнакомца.

Свидание назначили на семь вечера в ресторане «Океан».

Из клиники Некторов вышел часа за два. В этот раз парик не надел — волосы после операции уже отросли, и хоть на макушке красовалась лысинка, решил предстать перед Верочкой не замаскированным, со всеми своими прелестями. В троллейбусе к нему притиснулся человек с русой бородкой и обнял за плечи.

— Привет, Ваня! Говорят, ты болел? А я все собирался забежать, да дела заели. Как самочувствие? Видел Милу на днях. Вид у нее какой-то загадочный. А я уж испугался, думал, с тобой совсем плохо. А ты ничего, молодчага, выкарабкался! Так как с широкоугольным?

— А что? — растерялся Некторов, соображая, как выкрутиться из этого положения.

— Ну как же, ты ведь обещал. Хотел у Милы взять, не дает без тебя. Будь спок, верну в целости. В случае чего, за амортизацию коньячок.

— Да что там, — пробормотал Некторов, сообразив, что речь идет о фотоаппарате. — Скажи, что меня встретил, я разрешил. А ты что, дома не живешь?

— Еще нет. Это я так, прогулочку себе устроил. Но скоро выпишусь. Будь здоров! — и поспешил выскочить из троллейбуса.

Было первое сентября. Стайки школьниц в белых передниках придавали городу праздничную оживленность. Некторов вспомнил о Тоше. Должно быть, сегодня ей особенно тоскливо дома. Зашел в будку телефона-автомата и позвонил домой. Трубку взяла мать. Екнуло сердце — услышит мужской голос и, чего доброго, приревнует к Тоше, расстроится.

— Алло, алло? Кто это? — чуть тревожно спрашивал материнский голос.

Он помолчал, затем медленно опустил трубку на рычаг.

«Внутренней свободы, вот чего тебе не хватает, — вспомнил слова Косовского. — Попробуй восстановить прежнее состояние раскованности, легкости, присутствия удачи».

Легко сказать — восстановить. А как?

Он вошел в гастроном, купил пачку папирос. В соседнем отделе, где продавали колбасу, стояли человек пять. К прилавку без очереди подошел щупленький мужчина в спортивном костюме.

— Девоньки, голубоньки, позарез некогда, автобус отходит, — пропел он ласково. И, странное дело, непроницаемое до этого лицо продавщицы оживилось, она мягко кивнула ему:

— Сколько?

— Триста.

Схватив завернутый в бумагу колбасный брусок, мужчина быстрым шагом покинул гастроном.

Некторов выбежал следом. Никакой автобус не ждал этого пройдошного малого, который тут же сбавил скорость и прогулочным шагом побрел по тротуару. «Ну, проныра! — восхитился Некторов. — Натиском взял!»

Пример был не из лучших, чтобы ему подражать. Однако мелькнула озорная мысль — не попробовать ли себя в каких-нибудь ролях, прежде чем увидеться с Верочкой? Не сыграть ли Бородулина, каким он представляет его? В конце концов пора обживать свое новое телесное убежище. Случай представить себя в этой роли быстро нашелся. Впереди шла молодая женщина, толкая перед собой детскую коляску с грудным младенцем, левую руку оттягивала сетка с арбузом.

— Разрешите? — подскочил он, перехватывая сетку. — Далеко?

— Вам какое дело! Чего пристали? — Женщина потянула сетку на себя. — Отдайте, а то крикну милиционера, — сказала она, подозрительно осматривая Некторова.

Он растерялся, замедлил шаг и, понурив голову, побрел дальше. Неудача обескуражила. Два часа бродил по городу и отмечал про себя, что у него появилось совсем иное, новое зрение. Никогда не воспринимал он человека раздробленно, теперь же видел лишь телесные оболочки, начиненные различным содержанием. Встречались лица, которые пугали. Казалось, телесная форма у таких людей лишь упаковка пустоты. В других, наоборот, поражала огромность внутренней жизни, которой было как бы тесновато в рамках внешнего одеяния. Он решил, что перед Ватагиной не будет разыгрывать чью-либо роль, а постарается вспомнить себя прежнего.

Ровно в семь Некторов расхаживал с букетом белых гвоздик возле ресторана и жалел, что не надел парик — с ним опять кто-то поздоровался. Нехорошо компрометировать Бородулина, но и о себе не мешает позаботиться — не ходить же теперь в парике всю жизнь.

Верочка кокетливо опоздала на пятнадцать минут. Как всегда, она была экстравагантна и нарядна: светлые брюки на широком поясе, блузка, расшитая цветами, сердоликовые бусы на длинной нити.

— Привет, — бросил он по привычке, подхватывая ее под руку. Она отпрянула, но он, заметив свою оплошность, решил не отступать, вести себя непринужденно, как в былые времена.

— Так это вы? — Она любопытно смерила его с ног до головы, и только тут он заметил, что стал чуть ниже ее. Это обескуражило. Раньше было наоборот. Но, вероятно, смелость его пришлась Верочке по душе, она тут же перешла на «ты», и они через минуту были как старые знакомые.

В зале было интимно, уютно. Низко опущенная над столиком лампа как бы изолировала их от всех. Они сидели, пили крымский белый мускат. Некторов читал наизусть ее стихи и вел себя так же галантно, как и в былые времена.

— Вы, конечно, слышали об уникальной операции доктора Косовского? — вдруг спросила Верочка.

— Слышал, — насторожился он.

Верочка оглянулась по сторонам, придвинулась к нему и доверительно сообщила:

— Сногсшибательная история. Хотите, расскажу подробности? Только все это пока в секрете.

«Отчего же болтаешь?» — подумал он и заинтересованно приготовился слушать.

С минуту Ватагина сидела молча, сдвинув к переносице выщипанные бровки и задумчиво постукивая длинными розовыми ноготками по столу. Потом отхлебнула глоточек вина и рассмеялась:

— Мне иногда кажется, что Некторов — ну тот, чей мозг пересадили в другое тело, — нарочно подстроил эту историю. Ну как бы подшутил над всеми, чтобы доказать что-то свое.

— Хороши шуточки! — возмутился он.

— Ты его не знаешь, он способен на все. Я очень любила его. Целых три года! Обычно это у меня длится год-полтора, а тут — три года! Отличный был парень, но таких страстей, конечно, не стоил.

— Это почему? — обиделся он.

Она взглянула на него лукаво, насмешливо, и сердце его заколотилось — уж не догадывается ли, кто он? «Да нет, показалось», — успокоил себя.

— Слишком Некторов был очарован собой.

«Не ты ли подбавляла мне этого очарования своими стишатами?» — чуть не взорвался он и сказал:

— Наверное, были тому причины.

— О да! Видел бы ты его: красавец! К тому же умен, талантлив. Но чего-то в нем не хватало. Как в борще, куда забыли положить морковку или капусту.

— Однако образность у тебя не изящная.

— Да-да, как в борще, — жестко повторила она.

— А теперь надо надеяться, в нем все ингредиенты? — усмехнулся он, вставая. С легкой тревогой пригласил ее на танец.

Как и в прежние времена, она прижималась к нему с трогательной самоотдачей. Так же взволнованно узились ее и без того маленькие глаза, а волосы глубокой черноты бойко летали по плечам.

«Вот тебе и на, — думал он разочарованно, — выходит, ей все равно кого обнимать — цветущего красавца или плешивого коротышку». И тут же охватывала радость — если и для нее, и для Тоши он по-прежнему интересен, значит, есть в нем нечто, могущее нравиться независимо от его внешности?

Порою из притемненного зала с пятнами столиков ему чудился чей-то внимательный взгляд. Но кто и откуда рассматривает его, не мог уловить. Весь вечер они беседовали о поэзии, об общих знакомых, а потом Верочка почему-то длинно и горячо рассуждала о том, что право на любовь вовсе не дается ни внешностью, ни возрастом — каждый достоин этого чувства.

Давно ему не было так хорошо. Чуть приглушенная многоголосица зала, музыка эстрадного оркестра — все это после больничной тишины будоражило, приподымало, и, разгоряченный вином и Верочкиными словами, он порой забывал, кто он и что с ним. Но потом вдруг стало обидно за себя прежнего — слишком ласково смотрели Верочкины глазки-шарики на него, нового поклонника.

Он расплачивался с официанткой, когда Ватагина куда-то улизнула. Стал искать ее и нашел в другом конце зала с какими-то девушками. Одна была в очках и пристально смотрела в его сторону. Лицо другой он не разглядел — она сидела спиной к нему, но что-то знакомое почудилось в абрисе ее плеч, головы.

Тут Верочка прервала беседу и поспешила к нему.

На улице их остановили ее друзья. Минут семь болтали ни о чем, и только распрощались, как он увидел Октябреву. Она выходила из ресторана с очкастой девушкой. Это с ними разговаривала Ватагина. Он понял, что его разыграли. Настроение вмиг испортилось. Было досадно и неловко.

Верочка стушевалась, потянула его за руку, но он отстранился.

— Не сердись, — пробормотала она. — Мы хотели тебе помочь.

Он неприязненно взглянул на нее, подождал, пока Октябрева поравняется с ними.

— Мой личный детектив неосмотрителен, — сказал он. — В следующий раз советую гримироваться под официантку.

### 7

Пухлощекий человек в зеркалах уже не отталкивал. Некторов сросся, слился с ним. Однако на смену вражде к своему телу пришло щемящее чувство жалости. Оно захлестнуло с такой силой, что на время вытеснило то, что зарождалось в нем к Октябревой. Кто знает, во что бы вылилась эта жалость, если бы не одно происшествие.

Некторов лежал и рассматривал бородулинскую фотофантазию «Превращение», когда стук каблучков в коридоре возвестил, что его мучительница будет сейчас здесь.

— Все модничаете? — буркнул он, заметив плиссировку на ее халате. — Еще бы нацепили на нос батистовую маску с кружевами. Между прочим, ваш курс уже закончил практику.

Октябрева протянула ему градусник.

— Я вам надоела?

— Очень!

— Благодарю. Вы мне тоже. — Она присела на теплобатарею, вынула из халата миниатюрный флакончик с лаком и стала подкрашивать ногти. — А не пора ли вам уходить из этой кельи? Косовский не решается предложить что-нибудь, надо бы и самому подумать о своем будущем.

— Профессор не был сегодня на обходе. Почему?

— У него неприятность.

— Кто-нибудь умер?

— Да. Обезьяна.

— Клеопатра?!

— Кажется.

Октябрева мельком взглянула на него и замерла. Лицо Некторова исказила гримаса ужаса. Он медленно встал. Градусник выскользнул из-под его руки и звякнул об пол.

— Что с вами! — Она бросилась к нему.

Он оцепенело смотрел куда-то мимо нее и беззвучно шевелил губами.

— Отчего она умерла? — наконец выговорил он.

— Неизвестно. Знаю только, что Косовский очень дорожил ею. — Догадка вдруг мелькнула в ее глазах, и она испуганно прикусила губу.

— Мне нужно побыть одному. — Он тяжело опустился на койку.

Она попятилась к двери и, мысленно ругая себя за болтливость, вышла.

Некторов судорожно притянул к себе подушку, зарылся в нее, будто скрываясь от незримой, подступившей вплотную угрозы. Неужели что-то упустили, и его срок отмерен какими-то жалкими месяцами? Да что там месяцы, в любую минуту и секунду может прерваться его связь с миром. Черная тяжесть навалится на него, придавит, расплющит, и уже не будет ничего. Ничего. Боже мой! Ему подарили способность дышать, двигаться, говорить, любить... А он валяется на этой койке и терзает себя никчемными, жалкими мудрствованиями. И ведь уже был по ту сторону, но свершилось чудо, а он до сих пор не понимал этого.

Как бы не веря, что он живой, встал, сделал несколько шагов, согнул руки в локтях, подпрыгнул, обвел глазами палату. Сердце колотилось сильно и болезненно. И эта неожиданная боль была тоже одним из компонентов его бытия, физическую полноту которого он никогда так остро не ощущал.

— Надо что-то делать, что-то делать, — забегал он по палате. Бросился к шкафу и стал поспешно одеваться.

Во дворе института наткнулся на служителя питомника, схватил его за плечи и встряхнул:

— Что с Клеопатрой? Отчего она умерла?

— Да ты кто такой? Да отпусти же! — Дядя Сеня вырвался из его объятий и сердито отряхнулся. — Она что тебе, тетка или бабушка, эта Клеопатра? Ходят тут всякие. Обожралась эта дура порчеными консервами, и все дела. Куда ж там, траур мировой устроили! Косовский аж почернел. А кто виноват? Уборщица. Это она угостила шимпанзе отравой. А меня, наверное, теперь уволят, — тоскливо сказал он.

— Консервы! — Некторов опять бросился к дяде Сене и поцеловал его в нос. — Консервы!

— Ты чего? — опешил служитель.

Консервы! Выходит, ему дана отсрочка на неопределенное время. Собственно говоря, у каждого подобная отсрочка, но многие считают, что они, если не вечны, то, по крайней мере, отмечены печатью долгожительства.

Манжурова сидела у микроскопа, когда он вошел. Подняла голову и опять уткнулась в микроскоп.

— Отчего умерла Клеопатра? — с ходу спросил он.

Не отрываясь от работы, Манжурова небрежно бросила:

— Порченые консервы. — Лицо ее было сосредоточенно скучным.

— Точно?

— Точно.

— Ясное море!

Ирина вздрогнула, обернулась.

— Ясное море! — повторил он весело. — Отчего ты такая кислая, Ирина? Отчего люди вообще часто хмурятся? Злятся? — и, не дав ей опомниться, выскочил из лаборатории.

Был обычный сентябрьский день с чадом машин и деловой кутерьмой. Некторов шел по улицам и смотрел вокруг глазами человека, который вдруг вынырнул из черной пропасти и вот оглушен, ослеплен и очарован хлынувшими на него звуками, красками, запахами.

— Я иду. Мои ноги твердо ступают по земле, воздух омывает мои легкие, сердце стучит в полную мощь, глаза впитывают, уши внимают, — ликовало его существо. — Я ощущаю, чувствую, думаю. Я — человек! Я — живу!

Мимо пробежала облезлая рыжая дворняга с высунутым языком. Некторов обернулся и с восторгом проводил ее глазами — в жизни не видел такой прелестной собаки! С работы деловым шагом возвращались люди, и он вдруг впервые разглядел, как они по-разному красивы в своей озабоченности, погруженности в себя или веселой открытости. Все вокруг куда-то спешили, бежали, ехали. Троллейбусы были переполнены пассажирами, сновали автомобили, мотоциклы. И это всеобщее движение было символом самой жизни, ее буйства и торжества.

Что-то щелкнуло его в макушку, под ноги подкатился блестящий орешек каштана. Мимо проехала стайка девчонок на велосипедах. Одна из них, длинноногая, с рыжей челкой, чем-то смахивала на Октябреву, и он заспешил в клинику.

Они столкнулись в вестибюле.

— Где вы пропадали? Пожалуйста, докладывайте, когда собираетесь куда-нибудь исчезнуть.

Лицо Октябревой было взволнованно, веки чуть припухли. Неужели плакала?

— Весь парк обегала. Где вас носило?

— Леночка! — Он улыбался до ушей. — Вы и вправду переживали?

Подошел, взял ее руку, прислонил ладонью к своей щеке. Не место и не время было для подобных сцен, но оба оцепенели, как в детской игре «замри», и он вдруг увидел в ее глазах свое отражение. С минуту строго рассматривал его, потом обнял ее за плечи, повернул к зеркалу, перед которым они остановились, и грустно сказал, глядя на маленького пухлощекого человека и стройную девушку:

— Видишь, как мы не смотримся рядом. Но главное, я — жив! Поэтому знаю, что мне делать. — И непонятно для Октябревой добавил: — Обещаю тебе исполнить это.